

Борис Хазанов

ВЗГЛЯНИ НА ИЕРОГЛИФ

Роман в новеллах



München, ImWerdenVerlag
2012

© Борис Хазанов, 2012

© Некоммерческое электронное издание, <http://imwerden.de>, 2012

Пролог Забвение песка

Zwischen
deinen Augenbrauen
steht deine Herkunft
eine Chiffre
aus der Vergessenheit des Sandes.

*Nelly Sachs*¹

(1)

Наклонись над струйкой, следи за тем, как вода вырывается из-под камня, скользит и вьётся, и вливается в озерцо. И, успокоившись, течёт между травами и корнями деревьев, по песчаному руслу. Проводи её глазами, покуда она не исчезнет из виду. Сколько времени понадобилось воде, чтобы пробиться сквозь толщу земли, отыскать трещину в окаменелостях далёкого прошлого, растворить в себе соль веков. Подумай о том, что твоя жизнь, единственная, замкнутая в себе, на самом деле только пробег ручейка от порога к другому порогу: не правда ли, мы не догадывались, что в нас продолжается подземный ток, что ты сам — бегущая вода. Из тёмных недр прорывается безмолвие голосов, так бывает во сне, так даёт о себе знать череда предков, ты понятия не имеешь о них. А между тем ты их продолжение. Ты весь составлен из по-

¹ Между / твоими бровями / твоё родословие / шифром / из песчаного забвения. *Нелли Закс*, пер. В. Микушевича.

дробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет. Ты сбиваешь рыжую, уже поседевшую щетину на щеках — её оставил тебе в наследство пращур, современник царя Давида, а ему — патриарх Иаков, тот, кто поцеловал у колодца смуглую девочку с тёмными сосками, с лоном, как ночь, и с тех пор чёрная и рыжая масть спорили в поколениях твоих предков. Ты вперяешься в молочный экран и раздумываешь над каждой фразой, лелеешь и пестуешь язык, это потому, что твой согбенный прадед весь век вперялся в зеркальные строки квадратных букв с заусеницами и обожествовал алфавит. Ты лежишь на пороге своего дома в Вормсе, в годину чумы, с проломленным черепом — тебя обвинили в распространении заразы. О тебе в Кишинёве сказал поэт: встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой присохший на стволах и камнях, и заборах остывший мозг и кровь комками; *то — они*. Их уличили в том, что они — это они, а не кто-нибудь другой. Ты в очереди перед газовой камерой, и рядом стоит твой соплеменник, босой пророк из Галилеи, царь иудейский, чтобы вместе со своей верой, которую он возвестил в Иерусалиме, со всеми вами вдохнуть циклон Б и сгореть в печах. Потому что заодно с теми, кого изгоняли и убивали из века в век за несогласие признать Иисуса Христа богом и, наконец, сожгли в печах, сгорело и христианство. Да, мы древний народ, мы поплавок, качающийся на поверхности взбаламученных вод, там, где на страшной глубине, занесённые илом, лежат целые цивилизации. И вот теперь ты остановился, тайный двойник, соглядатай, в зелёном лесу, и не можешь оторвать взгляд от родника — что́ стоит копнуть лопатой и засыпать его землёй!

(2)

Я никогда не видел моего голубоглазого, рыжебородого деда, он умер, не дожив до пятидесяти лет, задолго до моего рождения. Он был ремесленник, бедняк, обременённый многодетной семьёй, считался знатоком Торы и Талмуда. От

него не осталось портретов, не осталось ничего. От него остался я.

Я почти ничего не знаю о своих предках с материнской стороны, но помню мою мать, молодую женщину, умершую, когда мне было шесть лет; она была выпускницей Петроградской консерватории, пианисткой и художницей.

Я думаю, что во мне сказалось двойное наследство — противостояние слова и музыки.

Привязанность к Слову, к листу бумаги, к начертанию букв: я ощутил её чуть ли не с раннего детства, она передалась от деда и через него — от бесконечной череды согбенных книжников. А мою любовь к музыке, жизнь в музыке я получил от матери.

Я стал писателем, потому что Слово для меня — воплощение логики, ясности и дисциплины, но эти начала сталкиваются и сливаются с тем, что не поддаётся переводу на язык слов, — с музыкой. Проза есть царство разума, но его размывают волны музыки, как ночь размывает день. Оттого чистота и логическая упорядоченность прозы смешалась в моих писаниях с фантастикой, с хаосом, с искривлёнными зеркалами, с безответственным отношением к времени, с мертвящим, как взгляд василиска, неверием в благодать Творца и сомнением в разумном мироустройстве.

(3)

Отчего я не возвращаюсь — как возвращаются в родные места на закате жизни? Перипатетики философствовали, гуляя в саду перед храмом ликейского Аполлона. Существует новая философия прогулок: по прямоугольнику каменного двора, парами, руки назад, не останавливаясь, не замедляя шаг. Существует философия мёртвых коридоров, гремучих ключей, цокающих сапог и прогулочных дворов высоко на крыше главного здания Государственной безопасности в Москве.

Отчего я не возвращаюсь... Можно привести дюжину доводов, нужны ли они? Там негде и не на что жить. Государство

ограбило нас дочиста. Всё, что я сделал, все следы моего пребывания в России выскоблены. Я лишён пенсии, хотя работал всю жизнь. Моя жена лежит на мюнхенском кладбище. Куда я от неё поеду?

Меня в Москве может остановить на улице любой милиционер. Моё пухлое дело хранится в архивах тайной полиции и, может быть, ждёт своего часа. Скажут: времена изменились. Но кровавая гадина жива. *Они*, возразят мне, теперь этим не занимаются. Но я отравленный человек.

Ты русский писатель; не спорю. Писатель должен дышать воздухом реальной жизни. Какой жизни? Дышать воздухом российской действительности. Что такое действительность?

Есть реальность памяти, она могущественней минутных впечатлений, всего хаоса, что наваливается на гостя. Новая жизнь осыпается на другой же день, как мгновенно пожухнувшая листва. Ибо память не терпит поправок. Есть действительности души, только она по-настоящему реальна.

Толкуют о читателе. Но у меня нет или почти нет читателей в России. Мой русский язык непонятен. «Ни одного человека вокруг, — жалуется изгнанник Овидий, — кто сказал бы словечко по-латыни!». Мой язык — латынь. И уже не здесь, а на родине я был бы эмигрантом. Я русский писатель, но я не национальный писатель. Где я, там русская культура, да-с; но это не культура сегодняшней России.

(4)

Одному человеку приснился сон, чей-то голос сказал ему: поезжай в Прагу, увидишь там большую реку и мост, под мостом лежит сокровище. Человек продал имущество, долго ехал, приехал, но оказалось, что мост охраняется. Каждый день он приходил, садился и смотрел на мост, постепенно к нему привыкли, он познакомился с начальником стражи. Однажды начальник сказал: этой ночью я видел сон. Голос рассказывал о деревне, будто бы там стоит заброшенный дом, в подвале спрятано сокровище, и никто об этом не знает. Вот я и думаю, сказал начальник, не рвануть ли мне туда. А где это

находится, спросил приезжий, и понял, что речь идёт о его деревне. Боясь, что его опередят, спешно отправился в обратный путь, на последние деньги добрался до места, оторвал доски, которыми крест-накрест была заколочена дверь его избы, спустился в подпол и нашёл сокровище.

(5)

Одному человеку приснился сон. Голос прошептал: бросай всё, поезжай в Прагу, там под мостом через Влтаву найдёшь сокровище. Он поехал, увидел мост, но дорогу ему преградила вооружённая стража. Он остался в городе, каждый день сидел у моста, сперва на него смотрели с подозрением, потом привыкли. Он познакомился с начальником стражи. Тот ему рассказал свой сон: будто бы где-то есть деревня, там стоит заколоченный дом, а в подвале лежит сокровище. Надо бы туда съездить, проговорил начальник, да нехорошо службу бросать. Крестьянин понял, о какой деревне идёт речь, вернулся, стал искать свой дом, но никакого дома уже не было.

I

Взгляни на иероглиф

Как океан объёмлет шар земной...

Нижеследующий рассказ есть, собственно, отчёт о поездке для моих друзей в город детства, и ничего более; постараюсь обойтись без беллетристических украшений, но меня смущает одно обстоятельство, рискующее подорвать доверие к автору. Рассказ этот настолько же объективен, насколько и «субъективен» — именно это, мне кажется, гарантирует его достоверность. Поясню, что я имею в виду.

Стихотворение Тютчева, я думаю, помнят все:

Как океан объёмлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;

Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьёт о берег свой...

Нам нелегко признать равноправие двух сторон нашего бытия. Пробуждаясь, мы с растущим недоверием провожаем плавающие в мозгу хлопья ночных сновидений, здравый смысл напоминает, что мы вернулись из мира фантазий в реальный мир. Но с тем же правом можно усомниться в приоритете дневной действительности, глядя на неё из бастионов сна. Если мы *отсюда* смотрим на сон как на нечто призрачное, то сон, в свою очередь, взирает на нас *оттуда*, и мнимой оказывается реальность дня.

Мысль эта стара как мир. Что же мешает нам сделать окончательный выбор? Постоянство яви и эфемерность сновидений, отвечает Паскаль. Если бы королю каждую ночь снилось, что он бедный ремесленник, а ремесленнику — что он король, они не сумели бы отличить грёзу от действительности. Если бы философ превратился во сне в махаона, говорит китайская мудрость, а махаону приснилось, что он философ, они не смогли бы решить, кто они на самом деле. Но довольно об этом; перейдём к делу.

Начну с начала, с того момента, когда, пройдя паспортный контроль, я двинулся к выходу и поискал глазами в толпе встречающих человека с картонкой, на которой должно было стоять моё имя. Прошло полчаса, прошёл час. Один за другим приземлялись самолёты, выходили новые пассажиры, сменялись ожидающие, человек с картонкой не появился. Я увидел в этом дурное предзнаменование. Пришлось взять такси. Сумерки стусились. Ехали сперва довольно быстро, затем, по мере того, как огни столицы обступали нас всё гуще, движение замедлилось, шофёр едва выгребал в потоке машин. Поздно вечером добрались до гостиницы.

Новые впечатления ожидали на каждом шагу. Шутка ли, столько лет я не был в этом городе. Не могу сказать, чтобы я жаждал вернуться: все нити, казалось мне, давно оборваны. Известие было для меня полной неожиданностью. Видите ли, я всегда думал, что для того, чтобы о нас вспомнили, — если

это вообще когда-либо произойдёт, — нам надо умереть. Только это условие может подарить моим сочинениям шанс возбудить сочувственный интерес на родине. Я, однако, всё ещё жив. Назавтра предстоит церемония возложения лаврового венка на мою облысевшую голову.

Мальчик потащил наверх мой чемодан. Гостиница, двухэтажное, старое, но перестроенное здание с замысловатой вывеской, находилась в самом сердце города, на улице, чьё название воскрешает память о храме Покрова Богородицы. Смутно помню эту церковь, она была снесена или, по крайней мере, порушена, но сейчас вновь возвышается, отстроенная и расписанная, как палехская шкатулка. Трамвайная линия давно уничтожена. Лялин переулок был рядом, чуть подальше остатки Бульварного кольца пересекали улицу. Направо, если стать лицом к Садовому кольцу, Покровский бульвар; налево — Чистые Пруды; город-палимпсест всё ещё хранил следы старинной планировки.

Внутри моя гостиница оказалась много вместительней, чем показалось снаружи. Путаница лестниц, ведущих то вверх, то вниз, переходов с зеркалами, откуда навстречу поднимается загадочный двойник. Войдя в номер, я сбросил одежду и через несколько минут уже спал.

После завтрака оставалось свободное время, я вышел пройтись. Но разгуливать здесь не так просто. Я очутился в городе, охваченном перманентной лихорадкой. Привычная теснота теперь достигла наивозможной степени. Как и накануне, улицу запрудили машины, угрюмые толпы колыхались на узких тротуарах. Вас могли запросто сбить с ног. Самый воздух содержал, вместе с выхлопными газами, некую субстанцию, от которой кружилась голова и путались мысли. Меня вынесло к бывшему Земляному Валю. Я говорю: бывшему, оттого что здесь мало что можно было узнать. Исчез кинотеатр, исчезли домики и лавчонки моего детства, вместо них воздвиглись многоэтажные сооружения, огромные рекламные щиты зывали к небесам на непонятном языке. Столица, ослепительно новая, напоминала разодетую в пух и прах старуху, у которой

под париком спрятаны седые космы, под густым слоем румян — глубокие морщины

Несколько времени погода я вынырнул в переулке, по которому некогда ходил в школу. Здесь было спокойней. А вот и Юсуповский сад, кованые чугунные листья высокой ограды, сиротливые деревья и причудливый дворец. Большой Козловский — ещё немного пройти, окна нашего дома. Мне пора было возвращаться.

Я устал, рассчитывал прилечь, но зазвонил телефон: за мной приехали. Надо было привыкнуть к тому, что приходится выезжать заблаговременно, движение на проезжих улицах происходит едва ли не со скоростью пешехода. Кажется, в гостинице остановился ещё кто-то, приглашённый участвовать в церемонии. Я попросил дежурную передать, чтобы сопровождающие поднялись ко мне в номер. Как вдруг оказалось, что в комнате я уже не один.

Гость был в широком и бесформенном, балахонообразном пальто, какие сейчас никто не носит, в кепке, надвинутой на лоб, вертикальные борозды прорезали серое лицо, отчего оно как будто сползало вниз. Гость помалкивал, я тоже не нашёлся что сказать.

Не ожидая приглашения, он уселся за круглый столик, приблизил лицо к вазе с цветами. Неужели настоящие?

«Если, — возразил я, — вы имеете что-нибудь мне сообщить, то, пожалуйста, покороче. Меня ждут внизу».

«Это я тебя ждал... Ты говоришь мне „вы“?»

Я растерялся: ведь я своего отца помню совсем другим: он не был стар. Он был хорошего роста, я едва доставал ему до пояса. Носил габардиновый плащ и низко, важно надвинутую кепку с большим козырьком. Свою мать я почти не помню. Существовала фотография: мы втроем, я посередине, мне не больше трёх лет. Моя мама часто ездила на гастроли с театром, неделями, даже месяцами её не было дома. Я научился не скучать по ней. Однажды она уехала и не вернулась. Мы окончательно остались одни.

Мой отец был молод, высок и красив. Из-под козырька с насмешливой любовью смотрели на меня его зелёные глаза. Таким он отправился на сборный пункт в первую неделю войны; это был последний день — с тех пор я его больше не видел. Как почти всё народное ополчение, спешно созданное и отправленное на фронт, он скорее всего погиб где-нибудь под Вязьмой; вообще же говоря, судьба этого этого войска осталась неизвестной.

«Мы опаздываем, — он взглянул на часы, — неужели нельзя было вовремя одеться...»

Я надеялся, что отец забудет про бант. Не тут-то было. Мы стояли перед зеркалом в дверце шкафа, он подтянул галстук и нагнулся ко мне, поправить шёлковый, яркокрасный бант, щекотавший подбородок. Ненавистный бант, который делал меня похожим на девочку. Перешли трамвайную линию, папа крепко держал меня за руку, зорко поглядывая по сторонам, и я вспомнил турникет у выхода из Чистопрудного бульвара в Большой Харитоньевский переулок, прогремевшую мимо «аннушку» с буквой А на белом диске головного вагона и собаку, прыгавшую навстречу мне на трёх лапах. Задняя нога была поджата, из неё лилась на булыжную мостовую алая кровь.

Когда мы вошли в невзрачное, как почти все дома на этой улице, здание с табличкой у входа и поднялись по лестнице, вступительные испытания уже начались, в коридоре толпились родители с празднично наряженными детьми. Дверь отворилась, разъярённый папаша, держа за руку испуганную девочку с огромным белым бантом в чёрных волосах, кричал, что он будет жаловаться. Следом вышла полная, очень строгая тётя и назвала мою фамилию. А вы, сказала она моему отцу, видимо, под впечатлением спора с родителем непринятой девочки, посидите в коридоре.

Я стоял перед роялем, вспотевший, мучимый своим бантом, полная дама сыграла одним пальцем короткую фразу, я простучал карандашом по крышке рояля ритм. Снова была сыграна мелодия, я пропел её. После чего наступил главный

момент. Я тяжело дышал, неожиданно ласково она сказала: «Ты можешь снять» — и сама распустила мне ленту. Я спел революционную песню:

Заводы, вставайте, шеренги смыкайте,
На битву шагайте, шагайте, шагайте!
Проверьте прицел, заряжайте ружье...

Дама сочувственно кивала, и я вернулся в отель.

Там было тихо, в номере стоял нераспакованный чемодан, на столе телефон; нажав на цифру гостиницы — выход в город, — я позвонил в секретариат премии, чтобы сообщить о своём приезде, после чего спустился перекусить в буфете, прежде чем отправиться на занятия в школу. Я не умел настраивать скрипку, учитель, высокий тощий человек с бабочкой на шее, поворачивал колки, придерживая подбородком мою детскую скрипку-половинку. Я стоял, вознеся это орудие казни, перед пюпитром, по вискам моим катился пот, плечи ныли, рука, державшая гриф, непроизвольно опускалась, стараясь незаметно опереться локтем о грудь; потные пальцы скользили по струнам. То и дело учитель вставал с места, подходил ко мне, похлопывал по спине — выпрямиться, выше локоть, не горбись, не опирайся грифом на ладонь, кисть должна висеть свободно. В другом классе, там, где когда-то происходил приём в музыкальную школу, все сидели за партами, висела доска с нотным станом, дородная дама (та самая) рисовала мелом продолговатые, как миңдалины, ноты, и был ещё один зал, где происходили занятия ритмикой. Раздавались команды, рояль стучал и дребезжал, это был Марш военно-воздушных сил: всё выше, и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц; это был Глинка, марш Черномора, там, в облаках перед народом, через леса, через моря колдун несёт богатыря; в одних и тех же небесах — почему бы и нет? — гудя, проносились краснозвёздные стальные птицы и летел злой карлик, и теперь он, держа на весу серебряную бороду, маршировал и приплясывал впереди. Ученики, в спортивных тапочках, трусах и майках, высоко поднимая колени, дефилировали следом за карликом, как вдруг девочка, у которой резинки

с застёжками на чулках высывались из-под сатиновых трусов, та самая дочка с бантом в чёрных волосах, которая провалилась на экзамене, но её родители всё же добились своего, — споткнулась и шлёпнулась на пол. Учительница выбежала из-за рояля, хоровод расстроился, девочку подвели к окну, слезы висели у неё на длинных тёмных ресницах. Я узнал её, она жила в нашем доме, но никогда не выходила играть со всеми во двор; изредка я видел её в окне второго этажа, она следила с завистью за нашей беготнёй.

Черномор отлепил бороду, намотал на скалку и спрятал в портфель. Школа опустела. Черномор устал, что-то про шамкал, ему нужно было успеть на праздник в детский сад, а потом ещё в одну школу.

«Ты ждёшь свою маму?»

Я ответил, что у меня нет мамы.

Он качал головой, поглядывал на меня своими склеротическими еврейскими глазами. Давно пора было возвращаться в гостиницу, мы стояли на тротуаре, пережидая проходивший мимо трамвай, карлик крепко держал меня за руку, он был почти такого же роста, как я. Откуда ты приехал, спросил он, и я чуть было не ответил: из Германии.

«Ниоткуда», — сказал я.

Он продолжал спрашивать: где я живу? Знаю, как же, кивнул он, когда я назвал Большой Козловский переулок. Черномор спешил, но не бросать же меня на середине пути.

«Это страшный город, — сказал он, — опасный город, нельзя одному ходить по улицам». Что он имел в виду: уличное хулиганье или движение транспорта? Очевидно, последнее: как раз в эту минуту, дребезжа, шёл трамвай.

Едва только освободился путь, я вырвался и, не простившись, побежал к вывеске моей гостиницы, куда вошёл уже взрослым человеком.

Вечером, не зная куда себя деть, я сидел в ресторане отеля, зал постепенно заполнялся людьми; я спросил девушку, подошедшую ко мне, не хочет ли она выпить со мной. Ответом был молчаливый кивок, без всяких церемоний она уселась

напротив меня. Её глаза были густо подведены, крошка чёрной краски повисла на ресницах, напомнив мне слезинку на реснице у девочки в музыкальной школе. Я сказал ей об этом. Принесли коньяк. Я сразу догадалась, сказала она.

«Догадалась — о чём?»

«Что это ты. Тебе присудили премию».

«Я думал, — сказал я, — что для того, чтобы стать известным, надо сперва умереть. Может, я и вправду умер? И явился с того света».

Она рассмеялась. Мне понравилась эта тема, я хотел сказать, что и по ту сторону жизни можно видеть сны. Она не слушала.

«А ты меня, я вижу, не узнаёшь!»

Заиграла музыка, люстра метала разноцветные огни, мы вышли из-за стола. Моя партнёрша танцевала профессионально, затуманенными глазами смотрела на меня, время от времени, после резких поворотов, словно бы ненароком прижималась ко мне животом и грудью. Её губы были приоткрыты, свежее дыхание обвевало меня. *Barmädchen*.

«Что это?»

«Девушка в баре».

С прелестной ужимкой, опустив накрашенные ресницы, она сказала, что я могу пригласить её к себе наверх, плата входит в стоимость номера. Всё так же согласно мы двигались в ритме танго. «Только я, — прибавила она, — подошла к тебе не для этого. Помнишь Черномора?»

«Конечно, — сказал я. — Тем более что мы только что виделись... Но ты поразительно молода. Столько лет прошло».

«Это для тебя прошло. А собаку, попавшую под трамвай, а верблюда — помнишь?».

«Я всё помню», — сказал я и чуть было не прибавил: и как твой отец кричал, что будет жаловаться. И чулки на резинках помню. Мы допили коньяк, я оставил на столе чаевые, мы перешли на ту сторону улицы и миновали музыкальную школу, всё ещё существующую, — «смотри-ка, — проговорил я, — кто идёт!» Мой отец шагал навстречу, держа под мышкой че-

хол со скрипкой, и рядом бежал мальчик. Отец вёл меня в школу. Вот так же, рассказывал он, шли Бетховен и Гёте по аллее в Бад-Тёплице. А навстречу им двигалась нарядная курортная толпа, знатные дамы и кавалеры, и Гёте, сняв шляпу, стоял сбоку от дороги и раскланивался, а Бетховен, представь себе, надвинул шляпу на лоб, скрестил руки на груди и молча, ни на кого не обращая внимания, прошагал сквозь расступившуюся толпу. Мой отец всегда рассказывал мне о великих композиторах по дороге в школу.

«Они нас не узнали, — пробормотал я, не совсем понимая, кого я имел в виду, — не обращай внимания...». Обогнув рыбный магазин, мы вступили на бульвар. За газонами, по ту сторону ограды, где проложены рельсы, «аннушка» приближалась, громко звоня, чтобы снова не задавить собаку. Я обернулся: один за другим оба вагона, покачиваясь, обогнули бульвар и скрылись в узком проезде на Покровку. Когда-то здесь, сказал я, на месте лодочной станции, цветочных клумб и аллеи, знаешь, что было? Пруды, заросшие ряской, и топкий берег в камышах, и назывались эти пруды грязными, пока их не почистили при царе Алексее Михайловиче. И вот прошли столетия, от Чистых прудов остался один пруд, окружённый штакетником.

«Откуда ты всё это знаешь, это тебе твой папаша рассказывал?» — спросила Люда, — теперь я вспомнил, как её звали, она жила в нашем доме, только не выходила никогда во двор. Стояла очередь, к нам приближался, выбрасывая мозолистые ноги с двумя толстыми пальцами, жуя губами, высокий, мохнатый, горбоносый, надменный верблюд, и в корзинах, висевших между горбами, покачивались, как грибы, детские головы. Вожатый с длинной жердью в руках, похожий на дрессировщика в цирке, щёлкнув языком, остановил верблюда, вынимал из корзины каждого пассажира и ставил на землю. Моё сердце колотится от любопытства, нетерпения, счастья, вожатый подхватывает меня под мышки и сажает в корзину, где уже тесно, где рядом со мной, в лёгком пальтишке и капоре, сидит моя ребяческая любовь. И мы отправляемся в странствие по кругу, впереди на длинной отвислой шее не-

возмутимо покачивается губастая голова с хохлом, вышагивают длинные ноги, — ах, заволновалась моя подружка, меня там, наверное, хватились. Клиенты ждут девушку из бара. Я с негодованием покосился на Люду; она слегка развела руками. Работа как работа.

Мы поплелись назад...

«Только мужской интеллект, опьянённый сексуальным инстинктом, мог назвать красивым этот низкорослый, коротконогий и широкозадый пол...»

«Кто это сказал?»

«Шопенгауэр. Был такой философ».

«Дурак он, твой философ... И потом, у меня вовсе не короткие ноги. Хочешь меня?»

«Но на самом деле, — продолжал я, хотя то, что я собирался сказать, мысль, которая меня преследовала, явно не имела никакой связи с предыдущим, — на самом деле действует закон зеркал».

Людмила криво усмехнулась; кажется, она подумала: чего ради терять с ним время? Я продолжал:

«Ты разглядываешь себя в зеркале, а из зеркала та, другая, смотрит на тебя и думает, что ты — её отражение. Ты вспоминаешь прошлое, а прошлое вспоминает тебя. Видишь сон, а там считают, что ты им снишься... Где тут правда, где обман?»

Её голос донёсся:

«Ты совсем задурил мне голову. Выходит, и я — только сон?»

«Не знаю. Бывают сны наяву. Мы на грани времён. То, что приснилось ночью, кажется нам мнимостью, а сне сновидением кажется день. Сон может длиться одно мгновение, но это только здесь. Потому что время, вот эта круглая рожа циферблата — всё это существует в дневном мире... В пространстве сна времени нет».

Померкла люстра из фальшивого хрусталя, исчез город за окнами. Лампочки под чёрными колпачками освещали пю-

питры и подбородки музыкантов, и огоньки свечей дрожали на столиках гостей; молча, лениво она поднялась, я взял её под руку, и, обогнув тени танцующих, мы прошагали к портьеру. Лестница звала к себе наверх. И снова, как в день моего при-
бытия, из лабиринта коридоров навстречу поднялся двойник, теперь он был во фраке, с бабочкой на шее, с искусственной розой в петлице, и, опираясь на его руку, рядом ступала под-
дельная красавица.

Мой номер, чисто прибранный, неузнаваемый; ночник над широкой кроватью, и отражённая в тусклом стекле призрачная пара. Как ты меня находишь, спросила та, что когда-то споткнулась на занятиях ритмикой, сейчас она была без всего, с нагими опущенными руками, с тщательно выбритым причинным местом, и я ответил, что не видел женщин прекрасней.

«Ты хочешь меня? Тогда за чём дело стало. Или ты боишься? Не волнуйся: нас проверяют. Медосмотр каждую неделю».

«Воззришь! — Я покосился на Люду, на её губы были сомкнуты. Голос звучал из зеркала. — Взгляни на этот иероглиф, на эту букву игрек, образованную двумя косыми складками паха и вертикалью сомкнутых ног.. У тебя есть шанс, ты можешь его разгадать».

«Да, но после этого ты уже не будешь такой...»

«Э, что за беда. Немного времени пройдёт, загадка восстановится».

«Нет там никакой загадки...»

«А это мы ещё посмотрим!» — сказала она лукаво.

Я возразил: «Но меня всё равно уже не будет».

«Ты собираешься умереть?»

«Я уеду. У меня виза всего на три дня».

«Уедешь, а потом вспомнишь. И вернёшься ко мне».

«У тебя много других...»

«Зачем об этом думать? Мы здесь одни. Думай о том, что будет сейчас».

Она вышла из зеркала и стояла теперь возле кровати.

«Но чем же всё-таки объяснить... — сказал я, уходя от темы. — Чем объяснить, что я состарился, а ты молода и прекрасна?»

«А не надо ничего объяснять. Боишься, что не получится? Это, малыш, зависит от меня. Я тебе помогу. Снимай свои штотки. Подойди ко мне сзади, обними меня, возьми мои груди в ладони. А! — воскликнула она. — Понимаю. Ты ревнешь. Но ведь это было очень давно. И вообще, какая разница: сломал целку, не сломал?»

Неожиданная грубость опечалила меня. Я опустил голову. Вот ты и заговорила настоящим своим языком, подумал я.

«Не сердись. Ну, ляпнула не подумавши... сама не знаю, что говорю. Я не помню. Я его с тех пор больше не видела».

В спальне было тепло, но она озябла, я подал ей халат.

«Я думаю, — проговорила она, — он давно умер».

Это была неправда. Мы стояли все трое, переминаясь с ноги на ногу, возле пожарной лестницы.

Мальчик с серыми, злыми глазами — ещё бы его не узнать! Гибкий, грубый, отважный и наглый. Поплевав на ладони для шика, он полез наверх по ступенькам из арматурных прутьев. Я и сам сколько раз лазал по этой лестнице на крышу нашего дома, но чтобы так рисковать... На высоте второго этажа лестница крепится к стене двумя железными штангами. И вот он придвинулся к краю, левой рукой схватился за перекладину, правой держится за лестницу. «На-ра-ра...» — он там что-то пел и, кажется, даже «Заводы, вставайте», — неужели та самая песня? Ловким кошачьим движением, изогнувшись, перехватил второй рукой перекладину и повис в пустоте лестницей и стеной дома, болтая ногами, как на турнике. Я взглянул на Люду — в страхе и восторге, открыв рот, она смотрела на него. Героя звали Юрка Казаков, Казак.

Он отодвинулся, перехватывая штангу тонкими руками, ещё дальше от лестницы, подтянулся раз и другой, силясь коснуться перекладки подбородком, затем просунул ноги между руками, отпустил руки и повис, качаясь, вниз головой. Я снова покосился на девочку. «Ты! — сказал я. — Ты не спус-

кала с него восхищённых глаз!» — «Ничего не помню», — быстро сказала Людмила. Мы всё ещё стояли в моей комнате с зеркалом, ночником и кроватью.

«Ты не сознавала, что должны были означать эти полуоткрытые губы...».

«По-моему, — отвечала она, — ты просто помешался».

Мы топтались у подножья пожарной лестницы, и теперь я был ещё дальше от неё, ещё безнадёжней. Валкой походкой Казак подошёл к ней вплотную. Она не отодвинулась. «Поцелуй меня!» — скомандовал он. Ты не двинулась, ты смотрела и не смотрела на него, полуопустив ресницы. Тогда он схватил тебя за голову и громко, смачно чмокнул в губы.

«А ты чего тут торчишь, — сказал он. — Вали отсюда, у нас свои дела...»

Женщины всегда достаются победителю. Что мне ещё оставалось делать? Они ушли.

Я спросил: где это произошло?

«Что?»

«Это!»

«Ничего не произошло. Не было ничего».

«Нет, было! На лестничной площадке. Где с двух сторон двери квартир, а посередине окно во двор».

«Писатель, — сказала она презрительно. — Выдумал, а потом получишь за это премию».

«Он прижал тебя к подоконнику».

«Откуда ты знаешь?»

«Знаю. А потом ты опустилась на пол».

Несколько времени я простоял в задумчивости, потом двинулся за ними. Я шёл на цыпочках, и было совсем тихо. Я поднялся на второй этаж, и там никого не было.

«Вот видишь, — сказала Люда. — Я просто ушла домой».

«Но тебе самой хотелось попробовать».

«Ничего мне не хотелось».

«А он куда делся?»

«Казак? Почём я знаю».

Я крался по лестнице, и внезапно мне всё опостылело; я остановился. Плевал я на них, пусть делают что хотят. Мысленно я произнёс это слово, означавшее, *что* именно они там делают. Наша квартира находилась в другом подъезде. Пойду сейчас домой и докажу вам всем. Отец на работе, мне никто не помешает. Привяжу верёвку к крюку, на котором висит люстра, встану на стол и спрыгну.

Она меня догнала.

«Тебя зовут к телефону».

Холодно, презрительно я оглядел её с головы до ног и, ничего не сказав, зашагал дальше.

«Тебя к телефону!»

«К какому ещё телефону?»

«К нашему...».

Я не стал спрашивать, кто, и в чём дело, и почему звонят в квартиру, где живёт Люда, коротко бросил: «Да пошла ты...», несколько минут мы шли рядом, и непонятная надежда шевельнулась во мне, я почувствовал, что мне расхотелось кончать жизнь самоубийством. Я повернул голову увидел девочку, и её красота окончательно сразила меня. Дверь чёрного хода была открыта, мы прошли через коммунальную кухню, в коридоре на стене висел телефонный аппарат, и трубка болталась на проводе. Звонили из гостиницы, мне пора было отправляться на церемонию присуждения литературной премии.

II Костёр

Гости собрались в просторной гостиной, она же музыкальная комната, прекрасный летний день, за окнами всё утопает в зелени. Всё ещё неугасшая традиция домашних концертов. Три пьесы Шуберта D 946, из посмертного, бодрое Allegro assai, в котором слышится затаённая тоска. После музыки закуска и болтовня; я прощаюсь.

Я собрался писать — о чём? Не всё ли равно. Я мечтаю о прозе, свободной, как музыка, от «идей», мне грезится по-

весть, в которой отменены все правила повествования, вместо этого — каприз прихотливых сцеплений, встречных образов, поворотов, возвращений. Так гребец оставляет вёсла и ложится на дно лодки. И чувствует, как течение уносит его на своей спине. Друг мой, вам это знакомо: усталость от классической прозы в корсете с перетянутой талией, с претензией навязать действительности некую онтологическую благопристойность. Но не я ли твердил, что достоинство литературы — в сопротивлении хаосу? А между тем какой соблазн бросить вёсла. Как тянет испытать сладкое головокружение, заглянув в бездну. Горячие от солнца крыши нашего детства: карабкаешься по железной лестнице, добираешься до громяющей кровле, до угла, забираешься на брандмауэр соседнего дома и, подойдя к краю, боком, упёршись ногой, заглядываешь вниз. И видишь себя самого, разбившегося, распластанного на асфальте, там, на дне двора.

Гости собрались в музыкальной комнате, пианист опускает крышку рояля, тут лукавая двусмысленность литературы тотчас даёт себя знать. Хочешь освободиться, ан нет, словесность призывает тебя к порядку. Изволь явиться перед читателем в приличном виде, при галстуке и с розеткой в петлице. Тонкий аромат роз, щебет за окнами и женский щебет; дамы слезаются над пирожными, маленькими глотками отпивают кофе из крошечных чашек. Не вы ли мне внушали, мой друг, что жизнь не нуждается в том, чтобы её упорядочила литература, жизнь существует ради себя самой, её смысл и оправдание — в ней самой. В мире всё есть как есть и всё происходит так, как оно происходит сказал Витгенштейн.

Я мог бы возразить, — если вы ещё способны меня слушать, — что тезис о самоценности есть отрицание ценности, и утверждение, будто смысл нашего существования заключается в нём самом, равнозначно признанию бессмыслицы. Сказать, что жизнь — самоцель, всё равно что сказать: цель жизни — смерть.

Похоже, что в самом деле жизнь, какова она есть, жизнь сама по себе — бессмысленна, как бессмыслен абсурдный мир вокруг. И что тайный импульс нашего существования, двига-

тель внутреннего сгорания, — это тяга к смерти. Но зато у нас есть литература. Преобразить жизнь, свою или чужую, в нечто такое, в чём мерцает, как костёр в тайге, высший смысл, противопоставить пламенеющее бытие человека непроглядной тьме — не такова ли сверхидея литературы?

Вот вам на первый случай одна идея, вы спросите, какое отношение она имеет к сказанному. Если можно мгновенно перенестись в прохладу московского двора, куда не заглядывает солнце, поставить ногу на ступеньку-перекладину пожарной лестницы и схватиться за верхнюю перекладину, на всю жизнь сохранить в ладонях ощущение шершавого железа, — и вот я лезу наверх, этаж за этажом, выбираюсь на буро-красную, с чешуёй шелушащейся краски, крышу, — если это так просто — передвигать как попало стрелку часов и лет, то почему бы вовсе не пренебречь временем?

Если можно свободно смешать «события», перетасовать лица и происшествия, — долой каузальность!

Заглянуть, как только что заглядывал в пропасть каменного двора, за кулисы времени, и увидеть себя тогдашнего, и понять, что «теперь» и «тогда» — лишь поручни нашего сознания, что благословение детства в том, что оно игнорирует будущее и не знает прошлого, благословение памяти — что она отменяет грамматику с её парадигмой глагольных времён. Память, не правда ли, — ведь это модель вечности, где всё происходит одновременно.

Память, шаровая молния, влетевшая в ночное окно. Память, которая носится от прошлого к настоящему, и снова назад, цепляется за что попало, порхает туда и сюда, обнюхивает, как собака, давно не существующих людей, предметы, тёмные углы.

Довольно трепаться, присядем на рельсы, помолчим, я устал, возвращаясь из дальнего квартала, путь по шпалам — единственный, по которому можно добраться до лагпункта, но сумеречная даль обманчива, и показались огни. Эшелон приближается к границе. Некто на своей даче-крепости едва успел улечься; ночной человек, он всегда засыпает перед рассветом; половина третьего, ночь накануне летнего солнцеза-

стояния, ещё неделю тому назад высокий чин из Народного комиссариата обороны докладывал, что рейх завершил подготовку к вторжению, Розенберг объявил, что буквы СССР в самое близкое время исчезнут с географических карт, — обо этом-де сообщает источник, действующий в штабе Люфтваффе. На что карлик с лицом, изрытым оспой, тот, кто сейчас лежит, как труп, на спине, усами кверху, ответил не медля: ложная информация, пошлите ваш источник к е... матери! Ближится рассвет, всё ярче огни, и уже подрагивают рельсы, — отскочить прочь, скатиться вниз по насыпи! Навстречу слепящему лобовому прожектору и красной звезде на брюхе локомотива несётся пограничный столб с орлом и свастикой в когтях, протяжный гудок приветствует могущественного соседа, гремят колёса на стыках, пронесли мимо контейнеры с зерном, рефрижераторы с мясными тушами, цистерны с нефтью, занимается заря, дребезжит телефон в комнате дежурного генерала, начальник генштаба требует разбудить «его». И вновь глухой желудочный голос приказывает не поддаваться на провокацию. Какая провокация, товарищ С.! — молящий голос генерала, — бомбы сыплются на наши города.

Этого не может быть, и оттого, что не может быть, это происходит. Чёрный рупор на крыше углового здания исторгает счастливую музыку, марш военно-воздушных сил, под который маршировали в музыкальной школе на Покровке, хочется плясать, шагать, махая локтями, всё выше и выше, и выше стремим мы полёт наших птиц, соседка плачет на кухне, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ! И дальше по крышам, в просвет переулка, на улицу Кирова, рвутся с крыш эти мелодии, если завтра война, если завтра в поход, весёлая, грозная музыка, под которую строем шагают войска, штыки наперевес, летят, отпустив поводья, краснозвёздные конники в суконных будённовских шлемах, шашки наголо, мчатся лихие тачанки, и соседка плачет, и впереди всех, словно фараон на колеснице, вождь с простёртой рукой.

На Берлин! Вероломный враг... Но рабочий класс всех стран на нашей стороне. Пролетариат Германии на нашей

стороне. Пусть осенит вас образ наших великих предков, Александра Невского, и кого там ещё... На Чистых прудах лежат на газонах похожие на огромные сардельки аэростаты воздушного заграждения, которым не дано было подняться в воздух, воют сирены — граждане, воздушная тревога, — по тёмному небу мечутся белые струи прожекторов, и ты стоишь, задрав голову, вперяясь, ищешь, когда появится в скрещении лучей летучий чёрный таракан. Взрыв где-то поблизости, кажется, в Машковом переулке упала бомба, ну и что, нам всё нипочём, люди бегут с детьми на руках к полукруглой, как вход в туннель, станции «Красные Ворота», вниз по лестницам, скорее, перед выходом на платформу створы тяжёлых герметических дверей готовы закрыться на случай газовой атаки. Будь готов к противохимической обороне! Будь готов к санитарной обороне. Юные пионеры, будьте готовы! *Pioniere, seid bereit!* Рот-фронт! Свободу Эрнсту Тельману! Но, как выяснилось, вы что, не слышали: немцы — исконный враг славян. Люди лежат вповалку, у некоторых с собой подушки. Но когда объявлен отбой, почему-то нельзя выйти, толпа бредёт по шпалам в полутёмном туннеле до следующей станции, бригады идут на рассвете по шпалам узкоколейки, конвой спешит с автоматами поперёк груди, впереди вахта производственного оцепления, впереди свет, платформа станции «Кировская», и я вбегаю во двор нашей школы.

Это большой двухэтажный бревенчатый дом, вокруг зелёный луг, не сравнить с каменным московским двором; школьный двор в оккупированном городке, для которого ещё нужно придумать подходящее украинское название, где я стою рядом с генералом Паулюсом, ещё не генерал-фельдмаршалом, мы щуримся от яркого солнца и смеёмся, мы не знаем, что нас ждёт; кто бы подумал, что год окончится катастрофой и гибелью в снегах под Сталинградом.

Бывший капитан вермахта разглядывает старую фотографию. (Подозреваю, что вы мою повесть не читали). Солнце палит с высот, горят поля пшеницы, ползут вперёд броневые колонны, гренадёры, голые до пояса, стоят в открытых люках, где-то далеко уходит к Дону отступающая Красная Армия, но

мы за тысячу километров от фронта; каникулы, школа пуста, я один во всём здании, я поднимаюсь на второй этаж, толкаю дверь библиотеки, я снимаю с полки книгу и ложусь с книгой на стол, забыв обо всём на свете. Второе лето войны, кто мог подумать, что я когда-нибудь о нём напишу, и напишу о том, как я о нём написал; второе лето, раскиданные даты жизни, — что получилось бы, какая составила бы причудливая биография, если бы, собрав места и события, разложить их по-другому, как складывают наугад шарики детской мозаики. Я сижу на полу.

Что делать? В комнате стелется дым. От огня на паркете осталось чёрное пятно, — это наше жильё, коммунальная квартира на первом этаже, Большой Козловский переулок, 3/2, но чур не отвлекаться, ещё далеко до победной музыки из уличных громкоговорителей, до мужественного, как лязганье танковых гусениц, хора: вставай, страна огромная; я сижу на полу среди надоевших кубиков, рассыпанной мозаики, я раскладываю костёр из спичек. Но когда коробок пустеет и гаснет пламя, ужас — чёрное пятно на паркете, сейчас вернётся Настя, вечером придёт с работы отец. Вечер наступил, никого нет, мы в эвакуации, Настя осталась в Москве, нет и отца, всё народное ополчение сгинуло в лесах между Вязмой и Смоленском, осталось выжженное чёрное пятно, я придумал затереть его мокрой тряпкой, тёмная полоса маскирует преступление, но предательский дым стелется в комнате, бежать из Москвы от грохота приближающейся армады, от пулемётного стрекотанья мотоциклов, несущихся по дорогам, солнце пылает с небес, горят деревни, горит спичечный костёр на полу, летучее пламя пожирает спелую пшеницу.

Второе лето войны! В клубах пыли, с лязгом и грохотом движутся танковые колонны, гранадёры без шлемов стоят в люках, шагает, горланя песни, пехота. А там — сверкающее лезвие Дона, переправа у Калача, где я никогда не был, но когда-нибудь напишу об этом, и напишу о том, как я это написал, и окажусь в лабиринте зеркал, где мелькает мой Doppelgänger, тот, кто притворился мною. И уже маячит в лиловом мареве заветная цель, виден в цейссовском бинокле рас-

кинувшийся вширь город. Не видать им красавицы Волги, и не пить им из Волги воды!.. Задыхающийся от счастья довоенный голос Любви Орловой...

.....

Гости собрались в просторной гостиной, летний день за окнами, Klavierstück D 946, рукопись, найденная в бумагах Шуберта, дамы лакомятся пирожными, отпивают из чашечек кофе маленькими глотками, и я бреду по аллее под нависшей листвой, поднимаюсь на насыпь и сижу на рельсах, жду, когда покажется вдали дымок паровоза, когда пронесётся мимо пограничный щит с орлом и свастикой, когда, наконец, я сумею собрать раскатившуюся по полу мозаику моей жизни. Вот картон с круглыми гнездами, я выкладываю из цветных шариков узор, глядите-ка что получилось!

И снова музыка, и я всё ещё шагаю по тенистой аллее, не заметив, что дошёл до U-Bahn, станции метрополитена, и очутился в центре города, эскалатор вынес меня на площадь Одеона, — какая встреча! Она там стоит. Моё сердце колыхается, как шар, налитый свинцом, — но как ты здесь очутилась?

Как очутилась... очень просто. Где ты, там и я.

Репейник памяти! Ты заслушался Шуберта, уронив голову, ты погрузился в полусон, сидя на рельсах лагерной однокорейки, зачитался, лёжа на столе библиотекарши в опустевшей сельской школе, впереди осень, я поступлю в седьмой класс, впереди зима, и Шестая армия Паулюса уже похоронена под снегами, сердце моё колотится от предчувствия, я выезжаю из подземелья — слепящее солнце, воскресная толпа, и Нюра стоит в летнем платье с короткими рукавами-фонариками, с полукруглым вырезом на груди, озираясь, неловкая, неуклюжая, невысказанно красивая, у входа в Hofgarten.

По-русски — Придворный сад, говорю я; а это, — и показываю на тяжёлый портал с двумя гербами, на башни с баварскими львами-флюгерами, — а это Theatinerkirche, был такой монашеский орден театинцев, холодная, помпезная церковь с гробницами курфюрстов и королей.

Да, это была та самая зима Сталинграда — помнишь, как ты вошла в комнату, и огонёк коптилки вздрогнул в чёрном оконном стекле, те самые дни, когда немец захватил почти весь город, сплошные развалины, и река, вся в огне, уже была, вероятно, в нескольких десятках метров, и главнокомандующий сидел со своим штабом в подвале на площади Героев, а тем временем были подтянуты свежие силы, и двойное клещевидное контрнаступление началось, и четверть миллиона солдат Шестой армии и части Четвёртой танковой армии, и остатки двух румынских армий, да ещё венгры, да ещё русские вспомогательные отряды — всё оказалось в кольце, и отчаянный танковый прорыв Манштейна захлебнулся, и ударили сорокоградусные морозы, и свирепый ветер нёсся над половецкой степью. Ты вошла в пальто, накинутом на ночную рубашку, на твоих волосах поблескивал иней, чахлый огонёк заметался на столе. Но как же, девушка, ты оказалась тут, в этом городе?

А ты, спросила она и, вздохнув, вынула кружевной платок из рукава на резинке, да, сказал я, была та первая, ужасно холодная зима, когда русский Бог спохватился и помог отогнать немца, а теперь жаркое лето, весь взмок, пока доплёлся до школы, — каникулы, пусто, прохладно, и я озираю книжные полки в библиотеке, а дивизии вермахта снова рвутся вперёд, уже теперь ясно — к Волге. Откуда ты всё это знаешь, спросила она, ведь об этом ничего не сообщают, и как всё было на самом деле, узнали только теперь. Когда — теперь? Это теперь было всегда, и хочется написать нечто свободное от всех этих «после того как», и понять, что порядок времён — всего лишь грамматика для зубрил. Ты здесь, Ньюра, и тебе двадцать лет, вот что главное.

Но что же мы стоим? И мы отправились в тень, свободных столиков нет, я спросил, можно ли подсесть, у одиноко сидящего человека, он кивнул, поднялся и сказал: я ждал вас. «Ты его знаешь?» — спросила она, поглядев ему вслед. Я пожал плечами. Барышня в коротких штанишках, прикрытых фартуком, принесла чаши с мороженым, похожие на башни придворной церкви театинцев, — да, продолжал я, мы привыкли

держаться за нить повествования, как Тезей за нить Ариадны, но память не есть воспоминание о прошлом, память — это присутствие. Ты явилась поздним вечером, томит бессонница, нет ли чего-нибудь почитать, на тебе зимнее пальтецо с узким воротником искусственного меха, накинутое на рубашку; поздно, все спят, и видно, что ты сама только что встала с постели. И ты присела, положив руки на стол, и наклонилась поглядеть, что я там пишу, — или, может быть, сделать вид, что тебя это интересует, — и твои груди поднялись в вырезе рубашки; уловив мой мгновенный взгляд, ты запахнулась. Нравится ли тебе мороженое, не заказать ли ещё одну порцию? Это было инстинктивное движение. Ты отпрянула от стола. Сознавала ли ты, когда облокотилась о край стола, что я увижу, как они встанут из выреза рубашки? Язычок огня колыхнулся, — там твои плечи и открытая шея в ночном окне, и моё лицо, освещённое снизу, словно лицо преступника, тетрад с дневником и том Герцена, и как он красуется перед юной Natalie, изображает из себя умудрённого жизнью в письмах из Владимира, и его рассказ в «Былом и думах» о том, как однажды в Москве он вернулся домой на рассвете и дверь ему отворила горничная, и было видно, что она только что встала с постели. Платок наброшен на плечи, она придерживает его спереди, и рука его почти непроизвольно тянется к платку — её грудь обнажена.

О чём ты думала, постучавшись ко мне? Ты знала, что твоя красота, твоя прекрасная неуклюжесть девушки из народа, у которой нет ухажёра, потому что все женихи лежат в подмосковных снегах и в степях Поволжья, и умирают в полевых госпиталях, и околевают в немецком плену, — ты знала, что твоя красота цветёт в эту минуту и ты вся излучаешь невыносимую раздражающую прелесть; ты чувствуешь всю себя, свои бёдра, плечи и руки, тесноту подмышек и тревогу сосков, — почему же ты не решилась?..

Потому что не решился ты.

Но я недоросль, а ты женщина.

У меня ещё никого не было. Война, мужиков не осталось, какая я женщина.

Нет ли что-нибудь почитать? Но тотчас ты почувствовала, что трепет, всколыхнувшийся, как язычок огня, навстречу тебе, — не то повелительное влечение, за которым следует мужской напор, но лишь растерянность, обожание и страх. Боязнь оскорбить твою невинность, — ах ты, Господи, какое там оскорбление. Достаточно одного лёгкого движения, еле заметного порыва навстречу тебе. Право же, было что-то нечестное, что-то против правил — вот так сидеть, и ждать, и поглядывать тускло-влюблёнными глазами, вместо того чтобы встать из-за стола! И ты послушно поднялась бы — пора уходить, свидание окончено! И пальто съехало бы к твоим ногам. И ты стояла бы, как потерянная, не решаясь наклониться и поднять, — стояла в своей рубашке с деревенскими кружевами, зачем ты пришла в рубашке? Не спалось. Завернувшись в платок, накинув пальто, вышла в морозную ночь и, когда возвращалась, скрипя валенками по снегу, из дощатого домика, стоящего на отшибе, помедлила у моего крыльца, оглянулась. Луна, ещё невысокая, залила сутробы и крыши барачков ледяным, мертвенным светом.

Пальто упало к ногам. Твоя тень, переломившись от стены к потолку, приняла в себя мою тень, но нет, запрет действия сидел в тебе, ты должна была не взять, а отдаться. Ты отступила бы — к двери, к кровати? Куда же мы двинемся, пора расплатиться, куда девалась кельнерша в коротких штанишках? Потоп света, жидкое масло зноя низвергается с небес на Придворный сад, на площадь Одеона, глазам больно от блестящего асфальта, сверкают стёкла автомобилей, мечут тусклые молнии львы на башнях и позолоченный циферблат, и чахоточный язычок коптилки изнемог на столе в полутёмной комнате, — на кровати спит мой маленький брат, мачеха дежурит в общем корпусе больницы, — ты пришла, Ньюра, чтобы всё переиграть, потому что возможное — это кладовая реального, неисчерпаемый ресурс бытия, и вновь постанывает тяжёлая дверь в сених, кто-то тайно стучится в дверь, и ты, в белом с грубыми нитяными кружевами, с кое-как сколотыми орехо-

выми волосами, придерживаешь у ворота полушубок, но как же нам быть, если кровать занята? И к тому же мы страшно стесняемся.

Но там другая кровать!

Страх! Страх!.. Перед женщиной, перед вторжением судьбы, вдруг явившейся, вставшей во весь рост. Я качаюсь под слабым ветром в океане настоящего, где плывут, как рыбы, видения прошлого, глагольные времена; я чувствую, что грань между «тогда» и «всегда» иллюзорна; в той действительности, которая скрыта от нас, существует другая связь вещей, другое сцепление происшествий, и надо сломать навязанную нам конвенцию прозы, и можно, глядя на спичечный костёр, знать о горящих полях войны, и можно помнить, сидя на перекладине пожарной лестницы, как приоткрылась дверь, как в комнату вступила девушка двадцати лет и волна её прелести всколыхнула оранжевый лепесток огня на столе.

.....

Тем временем — каким временем?.. — я плетусь по площади, где на мачтах висят поникшие флаги, где бронзовая плита на мостовой извещает о гибели города и новом рождении — есть и у городов своя сансара, — сворачиваю на улицу роскошных витрин, а там другая площадь, и печальная тень курфюрста всё ещё бродит по залам и лестницам дворца, ныне принадлежащего концерну Siemens, и поглядывает из окон на каменный зад коня и себя с простёртой дланью. Похоже, случайно оказавшийся полицейский не станет возражать, если я вскарабкаюсь на постамент, встану под мордой коня, — подумает, что я хочу сфотографироваться. Высоко, и немного кружится голова, как на кромке брандмауэра, откуда виден наш двор, старая снеготаялка и пожарная лестница...

Herr Polizist может не беспокоиться, я умею обращаться с лошадьми. Я стою впереди, но это неправильно, к коню, если он не знает тебя, нужно подходить не спереди и не сзади, а только сбоку, он должен сразу почувствовать в тебе хозяина, не должен пугаться, лошадь нужно окликнуть, с ней нужно разговаривать. Похлопать по шее, это знак приветствия.

Животные наделены изумительным слухом, моя полуслепая Брошка, невысокая блондинка игреневого масти, не успею я войти в конюшню, как уже слышит мои шаги, ждёт, когда я протиснусь в стойло, положу ладони на морду, подтолкну, и лошадь послушно пятится, выбирается задом из закутка; теперь хомут, затянуть супонь, насадить седёлку с металлическим арчаком, слабым пинком заставить поджать живот, затянуть на брюхе чересседельник; после чего привязываем к гужам оглобли, берём оглобли в руки, ведём мою Брошку, правя сзади оглоблями, к вагонке, ставим между лежнями, этим подобием рельс из толстых жердей, и зацепляем оглобли за скобы лесовозного экипажа. Расправить уши между ремешками уздечки, надавить на нижнюю челюсть, и большие жёлтые зубы коня разожмутся — вставить трензель, лошадь чмокает мягкими шершавыми губами, привыкая к металлу, и в углах рта прицепить к кольцам верёвочные вожжи. Я стою на постаменте курфюрста Максимилиана перед грудью коня-гиганта, сняться на память, перед тем, как отправиться в путь.

Слабый визг стальных колёс, усердное киванье большой головой, долгий путь по лежнёвке через болота, мимо куртин, за дровами для зоны, в бывшее оцепление, где гниют бурты невывезенного леса. Снова лагерь, почему лагерь? Я не знаю, я могу лишь пожать плечами. Потому что лагерь был и будет. Странно было бы, родившись в лагерном государстве, не загреметь туда. Поскрипывают повизгивают, катясь по лежням, колёса вагонки, копыта медленно, с опаской вышагивают по шаткому ступняку, и нет предела кладбищу пней, оловянно-му блеску болот, подъехав к бурту, я ищу место посуше, ищу бересту, спички припрятаны за подкладкой бушлата, я раскладываю костёр, далёкий потомок спичечного пожара на паркете. Лошадь моя стоит, понурившись, спина и грива блестят от измороси, сырая вата облаков застлала горизонт, тускнеет день, всё ярче огонь. И я спокоен, я безмятежен в моём божественном одиночестве, у меня в кармане френчика пропуск бесконвойного — в конце концов, можно и в лагере достичь относительной независимости. Попробуйте представить себе, мой друг, что это значит, когда никто не стоит

над душой, нарядчик не обложит матом, бригадир не вытянет дрыном по спине оттого, что плохо работаешь. И этот запах! Идёшь себе вниз по Людвиг-штрассе, тебя несёт воскресная толпа, какое счастье чувствовать себя никому не нужным, счастье быть эмигрантом, счастье быть чужим! Пылает огонь в сырых густеющих сумерках, и я вдыхаю запах костра.

Запах дыма, юности, лагерной отчизны! Запах таёжных костров, стрекочут электропилы, с грохотом, с треском ломающихся сучьев валяются в болотную топь столетние великаны, всё ещё вздрагивают кроны поверженных деревьев, сучкорубы обрубают ветви, сужкожоги волочат их к кострам.

А там эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь из глухих безоконных вагонов, так что можно принять его за товарный состав, и в самом деле битком набитый живым товаром, замедляет ход, — прокатился гром столкнувшихся буферов, конвой стоит на насыпи у колёс, я вылезаю, и ещё один такой же из другого вагона, почему-то нас только двое, выдернутых из поезда, никто никогда не знает, куда везут, страна большая, сколько бы ни ехали, где бы ни высадили, всё будет Россия, свисток — и лязгнули буфера, покатались вагоны, спецсостав министерства внутренних дел, знаем мы, что это за дела, следует дальше, на север, в неведомые края, секретным маршрутом. И мы плетёмся в наручниках, прикованные друг к другу, проваливаясь где по щиколотку, где по колено в снегу, следом бредёт четвёрка конвоиров, по-двое, с автоматами, добираемся до карантинного лагпункта, воскресная толпа влечёт меня мимо роскошного памятника королю Людвигу Баварскому, оруженосцы-пажи ведут под уздцы его лошадь, нигде невозможно быть более одиноким, чем в оборванной, остервенелой толпе, осаждающей барак столовой. В дверях драка, но толпа не даёт упасть, на мне рваная телогрейка бе-у, «бывшая в употреблении», и при том не раз, уже не раз, и руины ватных штанов, я не мылся второй месяц, сколько-то суток не ел; снаружи, сквозь ветхую ткань своего рубища я сжимаю в кулаке луковичу, хранимую в кармане, я вижу себя в гуще живых насельников моей памяти, театр теней, народец моих сочинений, — где же, спрашивается, граница между грёзой и явью,

памятью и литературой, но луковица в кармане штанов — это, знаете ли, гарант подлинности.

И вот я чувствую, как чья-то рука лезет ко мне в карман, сопливый подросток с глазами рыси ищет добраться до луковицы — и, кажется, уже ухватил добычу — я крепко держу луковицу снаружи, в эту минуту мы натываемся на обледенелую ступеньку, толпа втаскивает меня на крыльцо, молча, свирепо, дыша ощеренными ртами, прёт к дверям; откуда несёт аппетитной вонью кислой капусты. У дверей два амбала с продавленными носами; мы у цели, мы почти уже впёрлись, нужно что-то предъявить, доказательство, что ещё не получил миску баланды, не лезешь по второму разу, но у меня ничего нет, у меня еврейская внешность ловкача и обманщика, и кулак-кувалда, сбрасывает меня с крыльца.

Я сижу за столиком уличного кафе на Театинер-штрассе, был такой орден и, кажется, существует до сих пор, хотя ничто на этой улице вывесок и витрин не напоминает о монастыре, никто в праздной толпе не вспоминает о руинах войны, — и я не могу справиться со слабостью, в полутьме добираюсь до барака, где спят на полу, подложив под голову, чтобы не стянули с ног, башмаки-говнодавы, и впервые за долгие месяцы следствия и пути глотаю постыдные слёзы.

.....

Друг мой, вы готовы уличить меня в подражании знаменитому образцу, но могу вас заверить, я вовсе не собираюсь погрузиться в stream of consciousness, пресловутый поток сознания, этот фальсификат литературы, который нам выдают за подлинник человеческой души; да, и мне бы хотелось добраться до истины, заглянуть за кулисы нашего хронологически упорядоченного мира, — так нет же, язык-диктатор повелевает вернуться на проторённый путь. Границы моего мира, сказал философ, это границы языка. Мы порабощены грамматикой, между тем как истинный мир души — за пределами языка. И всё же, всё же! Остаются голоса, и лица, и запахи, — мелочи жизни, за которые можно уцепиться, остаётся луковица в кармане. Первая жестокая лагерная весна

в карантине, прежде чем попадёшь на стационарный лагпункт, залубеневшие на морозе штаны, скользкая наледь вокруг колодца, вдвоём с напарником крутишь железную рукоять, вцепившись, изо всех сил, — упустишь, ударит в лоб, собьёт с ног, — тяжело, медленно показывается из сруба плещущая бадья; немного погода меняешься с чахлым подростком, может быть, и не младше тебя, но он из той породы вечных недорослей уголовного мира с хлюпающим носом и мокрой верхней губой, с острым крысиным личиком, с глазами голодного грызуна, с дырой во рту на месте выбитых зубов; он становится к напарнику на твоё место, ты тащишь ведро с водой к столовой, выливаешь в бочку Данаид, и назад: оплывший холм колодца, скрипучий вал, и плеск, и цепь, которую подтягивают к себе, скользя на ледяном откосе, и снова с полным ведром к столовой, к железной раковине коммунальной кухни на первом этаже, уставленной столиками жильцов, с полками для кастрюль, с примусами и керосинками; струя хлещет из крана, я поднимаю ведро, — дверь чёрного хода наружу, и мы поливаем асфальт, и двор превратился в каток. Но однажды раздвинулись створы ворот, грузовик с горой угля для котельной втиснулся кузовом вперёд в подворотню, мимо мусорного ящика во двор, отпал задний борт, рабочий в перепачканной робе загребаёт совковой лопатой, сбрасывает уголь на лёд — прощай, наш хоккей!

С иглы стекает весёлая музыка, раздаётся треск из чёрного картонного конуса домашней «зорьки», советский суд приговорил троцкистско-бухаринских извергов к высшей мене, энкаведе привёл приговор в исполнение, советский народ одобрил и приступил к очередным делам, а дел было много, предстояли выборы в Верховный Совет. Глухой желудочный голос звучит из рупора, я, товарищи, не собирался выступать, но наш дорогой Никита Сергеевич, можно сказать, силком притащил меня на собрание: скажи, говорит, речь. Идут бои на карельском перешейке, Красная Армия штурмует линию Манергейма, совсем немного осталось до начала большой войны, до писем Герцена к Natalie, до комендантского лагпункта, до конного монумента короля Людвига, сжимая в кар-

мане, как амулет, луковицу, а навстречу беспечная толпа, а навстречу шагает юноша-монах в чёрном плаще с откинутым капюшоном и видит в небе нависший над городом меч возмездия.

Меч Господень, *gladius Dei*! Вот он и опустился на башни церквей и дворцов. Бежим, свернём на улицу Шеллинга, бывшую улицу, в ущелье между двумя грядами руин. Рельсы завалены щебнем. Та самая линия, голубой трамвай, десятый маршрут от площади Одеона в Швабинг, и в вагоне бледная, как мёд, Инес Инститорис стреляет в любовника.² Меч Господень! Бывшая штаб-квартира партии — над разбитым подъездом всё ещё виден раскрытый орёл с дырой между штанами, где была свастика в венке.

«Не только свастика. Они его кастрировали».

Кто кастрировал?

«Американцы. Прошу прощения, — сказал человек, — вы, кажется, подходили к столику...».

В чём дело, спросил я холодно.

«Я хочу сказать, не вы ли тогда подошли к столику, за которым я сидел. В Придворном саду. Вы были с девушкой».

Допустим; ну и что? У меня нет ни времени, ни охоты разговаривать с первым встречным. Несколько времени мы идём рядом, я крупно шагаю, он семенит, едва поспевая.

«Она удивительно похожа...»

На кого?

«На одну из ваших героинь!»

Мы остановились. «Не валяйте дурака, — сказал я. — И вообще: с какой стати вы ко мне привязались?»

«Я читал. Я читаю все ваши произведения».

«Весьма польщён».

«Мне показалось, что это она и есть».

Мне оставалось только пожать плечами. Я поглядывал на небо.

«Нам надо где-нибудь укрыться».

Едва только мы успели вбежать под своды сумрачной церкви Святого Людовика, как меч сверкнул над обречённым

² Т. Манн, «*Gladius Dei*», «Доктор Фаустус».

городом. Небо расколосось. Мы сидим на скамье сбоку от алтаря и слушаем нарастающий шум потопа.

«Это было очень давно, первая любовь. Тебя не удивляет, что...»

«Ничуть, — возразил он. — Память всё может. А, значит, и литература. Литература — это и есть память».

«Ты так думаешь? Кто ты такой?»

В полутьме поблескивают трубы огромного органа, тускло светится готическое окно-розетка над входом, мы одни, ливень снаружи как будто стихает, и мы выходим на широкую паперть под аркой портала. Голубое серебро мостовой, машины несутся, расплёскивая лужи.

«Впрочем, нет. Не всё может».

Я напомнил ему, что меня ждут, домашний концерт, про-бормотал я, Шуберт...

«Ничего, подождут. — Он продолжал: — Ты мечтаешь сбросить оковы времени, пространства, ещё чего-то. Это осуществимо, но какой ценой? Ценою смерти своего драгоценного „я“. Парадокс! Мечтал добраться до самых глубин своей личности, а личность-то — ау!».

Сколько-то метров прошагали молча, он спросил, знаком ли я с мескалином.

Нет, но я так и знал.

«Что знал?»

Что без психоделиков дело не обойдётся.

.....

Погружение началось прежде, чем я успел проглотить снадобье, значит ли это, что я в нём не нуждался? Провожатый коснулся кнопки над неразборчивой фамилией, чей-то голос отозвался из микрофона, отщёлкнулся замок, мы вошли и поднялись по лестнице. Жена моего приятеля стояла в дверях. Похоже, что нас здесь ждали.

Мы сбросили с себя одежду и облачились в шёлковые киноно. В широком окне стоял летний день. Мы сидели в низких креслах перед столиком друг против друга и слушали музыку, тот самый экспромт Шуберта, op. posth. D 946, в трёх ча-

стях. И вновь, ещё до того, как был внесён поднос, на котором стояли старинные серебряные стаканчики и градуированный фиал с дистиллированной водой, и приготовлено питьё, я заметил перемену обстановки: это было не окно, а зеркало, и я видел в нём моё сумрачное отражение. Музыка напомнила о том, что потеряно в жизни, о близкой смерти.

Зачем, спросил я, глядя, как женщина добавляет в сосуд одну за другой несколько капель по виду маслянистой, бесцветной жидкости, следит, как они бесследно растворяются в воде, — зачем это нужно, ведь я и так уже нахожусь по ту сторону. Затем, был ответ, что ты выберешься из клетки, освободишь из заточения твоё „я“.

Музыка смолкла, я держал перед губами, стараясь не расплескать, стаканчик, смотрел на своего визави, ожидая, когда он кивнёт, напиток не имел ни запаха, ни вкуса, я не чувствовал никакого действия, по-прежнему ясно сознавал себя, хотя не стал бы утверждать, что тот, чьё присутствие я сознавал, был я, а не кто-то другой; мне было необыкновенно уютно в мягком, низком кресле, спокойная, по-домашнему одетая женщина неслышно входила, убрала фиал и стаканчики, задёрнула штору перед зеркалом, я снова спросил: зачем? Так полагается, сказала она, но если вы настаиваете... Завеса упала, и я увидел блестящую гладь стекла, в котором никого не было, не почувствовал никакого разочарования и попытался встать — мне помогли.

А у нас, смеясь сказала она, для вас приготовлен сюрприз!

Он — ибо это был явно кто-то другой — шествовал по коридору, квартира оказалась запутанной, как лабиринт, я толкнулся наугад в дверь, в полутёмной комнате на кровати спал мой маленький брат, на столе горел огонёк, девушка стояла посреди комнаты. Она стояла такой, какой вышла из рук ваятеля, освещённая сзади, с тёмными кругами глаза, со слабо светящимся нимбом волос, и, значит, не даром я собирал раскатившиеся шарики моей детской мозаики, и не зря гигантский гороскоп звёзд поворачивался и времена сменялись, смешав минувшее с будущим в единое абсолютное время; не зря я заглядывал с кромки брадмауэра в пропасть каменного дво-

ра, брёл в толпе бушлатов по шпалам узкоколейки, крутил ручку обледенелого колодца и вдыхал неумирающих запахов таёжных костров, не зря шагал по улице Людвига и возвращался — чтобы увидеть твои твои глаза, твои круглые груди, увидеть тебя, Ньюра.

III Пардес

Я решаюсь изложить, по возможности кратко, то, что произошло на-днях, точнее, в одну из этих ночей. Должен ли я объяснять, почему выбран такой заголовок? Слово «пардес» означает плантацию, сад, а также Путь познания. Опасный путь, на котором можно погибнуть, не дойдя до цели. Думаю, этого пояснения будет достаточно.

Как всегда, я лёг в половине двенадцатого, чтобы спустя полчаса окончательно убедиться, что не усну. Надо чем-то заняться, а не пичкать себя таблетками. Пришлось одеться, я вышел, оставив часы на ночном столике,

Чоран рассказывает, как он сражался с бессонницей: колесил ночами до изнеможения на велосипеде. Я брёл пешком. Я двигался, как автомат, то, что со мной происходило, можно было принять за продолжение сна, но эта гипотеза не выдерживает критики. В полутьме я слышал стук своих шагов по асфальту. Ночью улицы кажутся незнакомыми. Я приближался к тёмной массе деревьев, это был Английский сад, известная достопримечательность нашего города, правильней было назвать его лесом. Стоит только сойти с главной аллеи, и тропинки, ветвясь и пропадая, и появляясь вновь, увлекут вас в шорох трав, мрак и шепот деревьев. Он огромен, этот сад. Он похож на еврейский Пардес, о котором только что сказано; поздний час усугубил сходство. Я старался не слишком удаляться от аллеи, рассчитывал выйти где-нибудь возле Северного кладбища и вернуться домой ночным автобусом.

Небо заволоклось, я больше не видел звёзд. Несколько времени погода холод пробрал меня, оказалось, что я сижу,

ловлю свои ускользающие мысли, боясь уснуть тут же на скамье. Чаща поредела, и показались огни. Я понял, что несколько сбился с пути, но это меня не смущало. Ночь показалась мне короткой. Тусклое серебро рассвета покрыло булыжную мостовую. Один за другим гасли тлеющие фонари. Окна мёртвых домов блестели, как слюда. Здесь совсем не было машин; облупленные фасады, зияющие подворотни, тротуары, истосковавшиеся по ремонту, — я очутился на дальней окраине.

Всё же любопытно было узнать, что это за район. Как называется улица? Щитки с номерами домов, полукруглые под угловатыми фонариками, напомнили мне далёкие времена. Солнце блеснуло в просвете улицы, и я разобрал, наконец, надпись. Так и есть! Название переулка было начертано по-русски.

Кто-то выбежал из ворот: девочка лет двенадцати. А мы тебя ждём, сказала она. Я силясь вспомнить, как её зовут. Куда ты пропал? Лида, возразил я, мне кажется, я заблудился, мне пора домой. Хотел спросить, как дойти до ближайшей станции метро. Но тут же спохватился, что никакого метро ещё не существует. Да и что значит: домой? Я был дома. Мы вступили в сумрачную прохладу двора. Я узнал высокий, сверху косо освещённый брандмауер, пожарные лестницы, рёбра старой снеготаялки. Солнце сверкало в стёклах верхних этажей, где-то там было и наше окно. Ничего не изменилось. И я рассмеялся от счастья.

Все стали в кружок. Тыча пальцем в каждого, я приговаривал: «Заяц белый, куда бегал, в лес дубовый, что там делал?..»

На минуту я замешкался. Неужели забыл считалку?

«Лыки драл, куда клал? Под колоду. Кто украл?..» Магия ритма несла меня дальше, «вынь, положи, кого берёшь, как замуж выдаёшь?» — круг замкнулся, я стоял, как вкопанный, с протянутым пальцем. Это была Феня.

Феня, Фенечка, дочь дворника, смуглая, черноглазая, слегка косящая, в которую мы все были влюблены. Она смотрела на меня и мимо меня.

Я пробормотал: «Тебе водить». Кто-то подбежал к доске, ударил ногой, палочки рассыпались, и все бросились прятаться кто куда. Для тех, кто забыл, напомню, что игра заключается в том, чтобы неожиданно за спиной у водящего выскочить из укрытия и, ударив ногой по доске, вновь раскидать палочки. После чего водящий собирает их заново, опять начинаются поиски, и так до тех пор, пока он не отыщет всех. Феня сидела на корточках возле доски, лежащей на кирпиче так, что один конец был на земле, а другой висел в воздухе. Двенадцать палочек были собраны, пересчитаны и уложены на краю доски. Раз, два, три... — она выпрямилась, приложив руку козырьком к глазам.

«Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать».

По лестнице чёрного хода, прыгая через ступеньку, я взбежал на второй этажа, подкрался, как тать, к окошку. Смуглая девочка в платье, не доходившем до коленок, стояла в нерешительности посреди двора. Я не мог оторвать от неё глаз. Вдруг, почувствовав мой взгляд, она обернулась — я отпрянул от окна. Выждав немного, я снова выглянул. Её не было. И почти сразу же послышались осторожные шаги. Она поднималась по лестнице. Она не боялась, что кто-нибудь выбежит из другого выхода, в противоположном углу двора. На цыпочках я поднялся ещё выше. Больше ничего не было слышно. С колотящимся сердцем я стоял между маршами. Добравшись до площадки третьего этажа, поглядел снова. Двор по-прежнему был пуст. Я понял, что она вышла и направилась на поиски в другой угол двора. Тут-то и можно было выскочить и топнуть по доске с палочками. Но я медлил.

Я обернулся. Феня стояла передо мной. Сердце моё оборвалось. «А вдруг кто-то выскочит?..» — пролепетал я, понимая, что дело не в этом. Игра уже не имела никакого значения.

Она молчала. Мы стояли друг перед другом, она была чуть выше меня, тоненькая, в тёмнооранжевом платье, которое удивительно шло к её смуглой коже, в носках и сандалиях. Чёрные глаза косили, непонятно, смотрит ли она на тебя или

мимо. Мы переминались в растерянности, мы были одни, так никогда не было.

Оглянувшись, я быстро сказал: «Пойдём со мной».

Она подняла брови.

«Бежим, пока никто не видит. Здесь недалеко... Феня, — продолжал я, — ведь я вернулся из-за тебя!»

По правде сказать, эта мысль пришла мне в голову только сейчас.

«Откуда это вернулся?» — сказала она надменно.

«Оттуда. Надо только пройти через сад. Там можно запутаться, пока дойдёшь до другого конца. Я знаю дорогу».

«Да ну тебя», — сказала Феня.

Мы топтались, не зная что сказать друг другу.

«Ну я пошла», — сказала она.

Со двора доносились голоса, видимо, там начали сызнава считаться, игра возобновилась.

«Поднимемся на минутку, а то ещё кто-нибудь прибежит прятаться». Я тащил Феню за собой наверх.

Она выдернула руку, остановилась и спросила: что такое Пардес?

Тут я вспомнил, что ничего ещё не знал в то время, — как же она могла спрашивать, если я не упоминал о Пардесе?

Всё же я ответил:

«Заколдованный сад. Там однажды три мужика решили прогуляться, три мудреца. Одного звали бен Сома, другого бен Абуя, а третьего... забыл, как его звали. Попросили Акибу...»

«Акибу?»

«Ну да; такое имя. Попросили пойти с ними, он знал дорогу. Надо было спешить, потому что сад закрывался после захода солнца. Он пошёл вперёд, а потом обернулся и видит: один мудрец сошёл с ума, другой вырвал кусты и посадил вверх корнями, а третий...»

Мы оба запыхались. Мы стояли на площадке последнего этажа.

«Что третий?»

«Умер».

«Никуда я не пойду. Иди сам».

«Да ведь это же сказка».

«Откуда ты это всё знаешь?» — спросила она.

«Я не знаю, это я потом прочту».

«Потом?»

«Когда вырасту», — сказал я и опять спохватился, что говорю что-то не то. Выглянул наружу, двор внизу был пуст, народ разошёлся по домам. «Побежали!» — я схватил её за руку. Но тут открылась дверь. Там была кухня. Все двери на лестнице чёрного хода вели в коммунальные кухни. Выглянула тётя Женя, в фартуке, с полотенцем в руках.

«Как тебе не стыдно? Все собрались, ждут. Гусь, наверное, уже перестоял».

«Кто ждёт?» — спросил я растерянно и вдруг вспомнил.

Тётя Женя наклонилась к плите, открыла дверцу духовки и вытянула чугунную латку, похожую на маленький саркофаг.

«Феня, — сказал я, — у меня день рождения, совсем забыл. Пойдём к нам. Мы ненадолго».

Мне показалось, что она что-то проговорила, у меня нет подарка, что-то в этом роде. Ерунда, возразил я, но её уже не было. Я наклонился над железными перилами и никого не увидел. Какая проворная, подумал я, какая лёгкая, быстрая, и, догнав в коридоре тётю Женю, распахнул перед ней дверь нашей комнаты.

«А вот и мы!» — громко сказала она. Саркофаг был во-дружён среди праздничного стола. После смерти мамы, в дни моего рождения хозяйничала тётя Женя. Гости обменивались восклицаниями, потирали руки, в открытой латке загорелый оранжевый гусь лоснился и дышал жаром, кто-то уже приготовился подцепить его длинной двузубой вилкой. Мой отец стоял во главе стола с откупоренной бутылкой тёмного стекла. Гусь шлёпнулся на эмалированное блюдо. Тётя Женя накладывала на тарелки лакомые куски и потемневшие, размякшие половинки яблок. А в углу на столике, где обычно помещалась швейная машина, были разложены подарки: книжки, завёрнутые в цветную бумагу, перевязанная красной ленточкой коробка конфет «Новая Москва» и самое

главное — похожий на волшебный сон набор деталей «Конструктор».

На мне был мой новый костюм, накрахмаленная рубашка, немного мешавшая поворачивать голову, свежевыглаженный красный пионерский галстук; я был радостно возбуждён и что-то лепетал в ответ на поздравления и пожелания. Стук ножей и вилок заглушил мои слова.

Потом явился пирог. Набрав полную грудь воздуха, напыжившись, я дунул из всех сил. Огоньки одиннадцати тонких ёлочных свечей всколыхнулись, несколько свечек погасло. Гости аплодировали. Мой отец потушил остальные.

Я думал о Фене. За спиной у меня слышался смех, музыка — тётя Женя играла на пианино. В коридоре было тускло и скучно. Я раздумывал, не вернуться ли, меня смущала двусмысленность этого слова: вернуться. Между тем я уже стоял на лестничной площадке, оглянулся — мое бегство, по-видимому, осталось незамеченным — и уже спокойно, уверенный, что найду Феню, пересёк наш двор, раздвинул створы ворот и выглянул в переулок. Я здесь, тихо произнёс её голос. Она стояла за моей спиной.

«Что же ты не пришла?»

Она молчала.

«Был пирог, — сказал я. — С вареньем, пальчики оближешь».

«Я не люблю с вареньем».

«А с чем?»

«С мясом. И вообще».

«Что вообще?»

«И вообще мне нельзя к вам ходить. Мне мама не велела».

«Почему?»

«Ты еврей, — сказала она. — А моя мама татарка. И я тоже татарка».

«Ну и что?»

«Евреи не любят татар. Никто не любит татар».

«Наоборот, — сказал я. — Это евреев никто не любит».

Надо было спешить, медленно умирал летний день. «А то закроют». Мы прошли весь переулок, свернули в другой, те-

перь мне всё было знакомо. Наконец, город кончился. Впереди в лучах заката манил, темнел, зеленел Сад.

«Вспомнил, — сказал я, — как звали третьего. Бен Асай. А вёл их бен Акиба».

«Они все были евреи?»

«Да. Все были евреи».

«Расскажи, — попросила Феня, — про этого Акибу».

«Это был великий мудрец. Он прошёл через Пардес, и ничего с ним не случилось».

«Я боюсь».

«Дурочка. Это же сказка. Легенда!»

Мы шли по широкой аллее, не шли, а шествовали, и как я был горд, какое счастье шагать вдвоём, держась за руки, навстречу птичьему гомону! Закатный свет исполосовал дорогу. Я крепко держал Феню, воображал себя рабби Акибой и знал, что с нами ничего не случится. Навстречу шли двое, ночной обход — оба, мужчина и женщина в зелёных мундирах баварской полиции. Немного погодя мы сошли с дороги, извилистая тропа вела нас через поляны, сквозь кустарники. Небо уже пылало серебряным огнём, и я разглядел в высоте белёсый серп.

«Далеко ещё?»

Мы присели на скамью. Ночь накрыла нас с головой.

«Немного передохнёшь, — сказал я, — а я тут погляжу, где пройти покороче. — Я сейчас!» — крикнул я, и в самом деле, дорога, по которой я направлялся вчера в город моего детства, была совсем рядом. Я вернулся к Фене.

Но что-то случилось, и я почувствовал, что никогда больше её не увижу. Она погибла там, в этой чаще. Не каждому дано пройти через Сад. Нет больше скамейки, нет никого, я пробовал кричать, звать и ни до кого не докричался. Открыв ключом дверь моей квартиры, я увидел неубранную постель, часы на ночном столике. Полчаса прошло с тех пор, как я вышел. Я лёг и заснул мёртвым сном, от которого лучше бы не просыпаться.

IV Сельский врач

Перед рассветом

Когда мы дремлем, уткнувшись лицом в своё ложе, все вместе, мы похожи друг на друга, как дети одной матери, мы все равны, но стоит нам повернуться на спину, и нашему братству приходит конец, мы злобно косимся друг на друга, каждый подозревает соседа в тайных кознях, завидует соседу и готовится к драке. Ведение войны требует союзников, вот почему мы вступаем в коалиции, чтобы вместе ополчиться на врага, но это лишь тактический ход: как только ситуация меняется, мы, не задумываясь, изменяем нашим союзникам. Правила войны выше морали. Всё оправдывает победа.

Ради этой победы хороши все средства: коварство, ложь, подлог, предательство. И того же мы ждём от противника; мы, если угодно, состязаемся в низости; побеждённому нет пощады.

Война требует оснащения. Меч в руке короля — всего лишь декоративная принадлежность, как лилия дамы — часть её туалета; мы дерёмся не мечами. Наше истинное оружие, инструмент борьбы не на жизнь, а на смерть — наше войско — это они: те, кто сидит за столом. Кто думает, что играет нами. Но мы-то знаем, кто есть кто! От них требуется беспрекословное подчинение. Пусть только попробует рука наёмника бросить на стол не ту карту! Мы жестоко караем всякое своеволие. Строптивного игрока доведём до самоубийства.

Разумеется, и я принимаю участие в военных действиях, мои противники, естественно, — другая масть. Несчастье в том, что во вражеском стане находится предмет моего вожделения. Так уж получилось. Но не я одна страдаю по Королю. О, я знаю, что мне делать: втереться в доверие червонной супруги, пусть эта гусыня верит в мою бескорыстную дружбу. Тем легче будет нам обеим разделаться с общей соперницей. Добьюсь ли я своей цели? Увы! Оказалось, что Король равнодушен ко всем нам, его пассия — смазливый Валет Треф.

Утро близится, время ложиться... Я, конечно, романтизирую карточную игру. Карты шлёпаются на стол. Но не игрок играет в карты, вот в чём дело, — не игрок, а карты распоряжаются, карты играют игроками. Карты живут своей тайной жизнью, одержимы своими страстями и пользуются игроками в своих целях. Пусть картёжник верит в счастливым случаем, пусть клянёт невезенье, — на самом деле это их, это *наше* решение. Мы — его судьба. А то, что называется случаем, — всё равно что крап, обратная сторона.

Когда-нибудь, если буду жив, я раскрою эту тетрадь, вспомню мои долгие бдения, игру с самим собой, и как они решили мою участь, как заставили меня проиграться. Это из-за них я лишился моей жены. Вряд ли когда мне удастся привести в порядок мои записки, но тот, кому они попадутся на глаза, узнает, по крайней мере, кто я такой. Ведь меня принимают Бог знает за кого.

Я предпочитаю ни с кем не встречаться. Знаю, что обо мне рассказывают всякое. Что я тронулся, сидя взаперти, — с чем я вполне согласен, надо только встать на точку зрения этих людей. Для них я в самом деле помешанный. Или что я будто бы тайком постригся в монахи, дал обет молчания. Какой обет, откуда им известны такие выражения? Слыхали ли они когда-нибудь о молчальниках, об исихастах, об «умной молитве» Григория Паламы? За многие годы я не видел, чтобы кто-нибудь хотя бы перекрестился... Если я мало с кем разговариваю, то не потому, что лишился дара речи. Просто не считаю нужным обмениваться шаблонными репликами, отвечать на глупые вопросы, задавать самому. Я заранее знаю, что мне ответят.

Пятый час

...не утра, конечно, — в это время я уже собирался лечь. А сейчас на ногах, бодр и свеж, стемнеет — пойду гулять. Сегодня Касьян, — чуть не забыл, что я именинник. Народная этимология связала это имя со словом «косить»: Касьян с косой в руках, как сама смерть. Високосный год считается не-

счастливым. Было ли моё рождение несчастьем для родителей, для меня самого?

Но, с другой стороны, не так уж плохо появиться на свет 29 февраля, это значит, что мой возраст прибавляется один раз в четыре года. Мой патрон, святой Кассиан, поплатился за чистоплюйство. В наших местах до сих пор рассказывают, как однажды Иисус Христос шёл ненастным осенним днём с двумя святителями, Георгием и Кассианом. Вдруг видят — мужик застрял с возом посреди дороги, надо пособить. Святой Георгий, недолго думая, подвернул портки повыше и полез в грязь. А Касьян стоит на обочине, не желает пачкаться. Двое упёрлись в задок, лошадь дёрнула раз, другой, и вытащили воз. Крестьянин снял шапку, поблагодарил и поехал дальше. Иисус же промолвил: за то, что ты, Егорушка, помог человеку, тебя будут праздновать дважды в году, ты будешь Егорий Вешний и Осенний. А ты, Касьян, поленился, и за это твой день будут отмечать раз в четыре года.

Кажется, он добавил: и год твой будет недобрый.

Итак, ставлю дату. День такой же тёмный, ненастный, вот уже и смеркается. Зажглись огоньки в отделениях — между прочим, моя заслуга. Сам я, однако, предпочитаю мою старую, верную керосиновую лампу. Меня раздражает электрический свет. Кроме того, я хочу быть независимым. Бывает, что зимой буран повалит столбы; жди, пока приедет трактор, пока починят линию; а у меня покойно, уютно, я сижу в своём убежище, в тускло-таинственном сиянии, среди теней, в одиночестве и молчании.

Ближе к полуночи

Насчёт «заслуг»: тут особая история. Дела давно минувших дней (как всё). Мы прибыли по распределению. Брак наш, хоть и недавний, трещал по швам, а тут ещё случился выкидыш; я подозревал, что она забеременела от меня. Как мне Сейчас мне совершенно ясно, что сомнения не имели под собой никакой почвы. Но тогда последняя соломинка переломила спину верблюда — жена моя уехала. Несколько времени

спустя от неё пришло письмо, она писала, что не мыслит своей жизни в глуши, лучше повеситься; а кроме того, даже если вернуться, она не в силах больше выносить мой характер. Я был полностью с ней согласен, клялся и божился, что прошлое не повторится; никакого ответа. Я не мог отделаться от подозрения, что она сбежала к любовнику. Позже до меня дошёл слух, что моя жена умерла — то ли в родах, то ли от позднего криминального аборта. Выходило, что я был прав: она снова с кем-то сошлась

Я не запил, что было бы естественно; вместо этого рьяно взялся за хозяйство. Свёл дружбу со Степаном Ивановичем, мастером на все руки; втроём с женой и свояченицей они за неделю отремонтировали амбулаторию. Однажды приехал председатель колхоза — к этому времени успели распространиться слухи о моём врачебном искусстве. Ничего страшного у председателя не оказалось, но он считал, что болен опасной болезнью, и, выписываясь, спросил: сколько я хочу взять за лечение? Я сказал: а вот ты мне лучше проведи электричество. Назавтра — откуда что берётся? — явились рабочие, поставили столбы, подключили к сети. В селе до одиннадцати работает движок, потом всё гаснет, — у меня в отделениях всю ночь горит свет.

На другой день

Сказав, что я ни с кем не общаюсь, я всё же погрешил против истины. К примеру, вышеупомянутый Степан Иванович. Это невысокий жилистый мужик с серыми, всё ещё густыми волосами, серым цветом лица и хрустальным блеском глаз, какой бывает у лёгочных больных. Он приходит, осматривается, я показываю кивком, но он и сам уже понял: чинит проводку (приходится всё же пользоваться электричеством) или поправляет оконную раму. Добыл где-то доски и починил крыльцо. Дом потихоньку разваливается, и если бы не Степан Иванович, я давно лишился бы крова. Таких людей можно встретить только в сельской глуши: чеховский Редька, гоголевский расторопный мужик не в немецких ботфортах.

«Как жизнь молодая, Степан Иваныч?» (Ему 60.)

«Помаленьку».

«Погодка-то, а?»

«Да, погода не жалуется».

Раз в году, а то и дважды, весной и осенью, он хворает. У него начинается лихорадка, температура скачет, проливной пот, кашель с гнойной мокротой. Больной желтеет и худеет. У него, как он говорит, «апсес». Диагноз был поставлен ещё до меня. Следовало бы ехать в город, в те времена уже научились оперировать хронический абсцесс лёгкого. Но он ни куда ехать не хотел. Я был молод и, что называется, на коне, ликвидировал обострение массивными дозами только ещё входившего в употребление пенициллина. С тех пор Степан Иванович свято верит в уколы, каждый год умирает и каждый год воскресает, как Озирис. Почувствовав приближение рецидива, ложится в больницу и сам говорит врачу, что надо делать.

Вечер

Негоже раскладывать пасьянс при электрическом освещении, карты к нему не приучены, куда приятней и достойней — при свечах. И тогда мы оживаем, ощутимей становится наша власть, тогда можешь вчитаться в свою участь, начертанную на наших неподвижных лицах, — тайну, спрятанную в катакомбах грядущего. Мы, получаем указания оттуда, мы, короли, дамы, валеты, — перст Божий.

А может, и демонское наваждение.

К несчастью, свечи вышли из обихода; как уже сказано, я сижу с керосиновой лампой. Древняя лампада из толстого зелёного стекла, должно быть, принадлежавшая земскому врачу, который некогда обитал с семейством в моих хоромаш. В своё время я интересовался историей наших мест. Больница была построена уездной земской управой в конце XIX века — в самом деле чеховские времена. Село от нас в двух километрах, мощёную дорогу строили солдаты. По ней однажды проезжал Лев Толстой в гости к какому-то крестьянскому философу.

На чём я остановился... Я хотел написать, что было дальше, после того как я расстался с моей женой. Хозяйственные усовершенствования продолжались. Я затеял строительство водопровода. Медицинское начальство регулярно присылало из города окружные письма, инструкции, приказы по району и прочие доказательства своего существования, я швырял их не читая в ящик письменного стола; после окончания строительства пришло две бумаги: в одной мне выносили выговор за перерасход средств, в другой — благодарность за активную работу.

Возвращаюсь к стройке: в итоге долгих переговоров прибыла из треста «Водоканал» бригада, для деревенских женщин это было волнующим событием. На поляне в виду моего дома появилась строительная площадка, работы затянулись — бурили долго, никак не могли добраться до воды; октябрь наступил, пошли дожди, пока, наконец, я не увидел в окне обляпанный грязью грузовик с трубами. Была воздвигнута водонапорная башня и проведён водопровод в общее отделение, в родильный дом, в детское, в так называемый заразный барак и амбулаторию. Первые времена врачебной практики всегда запоминаются. Вскоре произошёл один случай. Прервусь ненадолго...

Ночь, продолжение

Первое время я ещё спал по ночам; когда меня вызывали, возвращался и засыпал; но оттого ли, что ожидание стука в дверь заставляло меня даже во сне быть настороже, или одиночество усилило во мне те черты характера, на которые пеняла мне моя супруга, нормальный ритм дня и ночи нарушился, — ныне этот так называемый нормальный ритм, напротив, кажется мне ненормальным.

Длинные путанные сны стали преследовать меня, я вскакивал посреди ночи и вперялся в темноту, мне казалось, что лезут в окно, что кто-то караулит в сенях. И в самом деле, стукнули в дверь — раз и другой. Был второй час ночи. На пороге стояла, закутавшись в платок, моя жена. Проморгавшись,

придя в себя, я убедился, что это дежурная сестра. Мы побежали по свежевывавшему снегу к общему корпусу. У крыльца стояла подвода, в приёмном покое сидел на табуретке пожилой мужик — отец или муж, на топчане, под тулупом, в тёплом платке, из-под которого виднелась белая косынка, в валенках с галошами, лежала больная.

Лежал полутруп. Бледно-синюшная, без пульса, с закрытыми глазами и теми особыми чертами лица, которые описаны две тысячи четырёхста лет тому назад отцом медицины. Вдвоём с сестрой мы раздели её; платье, рубашка, трусы — всё пропитано кровью, влагилице в тёмнобагровых и свежих алых сгустках. Больную бил озноб. Её везли издалека. Она была в сознании, но не отвечала на вопросы.

Продолжение

И вот я сижу на круглом вращающемся табурете между ногами пациентки, электричества у меня тогда ещё не было. Рядом столик с керосиновой лампой. Сестра подаёт инструменты, санитарка держит вторую лампу. Но мне было темно. Разбудили шофёра, он подогнал к окну операционной урчащую колымагу, и сияние фар залило белые колпаки женщин, забрызганное кровью покрывало и физиономию хирурга с кюреткой в правой руке и щипцами Мюзо в левой. Кровотечение прекратилось, всё ещё живой труп был перенесён в палату, но давление отсутствует, тоны сердца не прослушиваются. Удалось связаться по телефону с городом, выслали машину, мой фургон встретил её на середине пути. Под утро драгоценные ампулы крови для переливания прибыли; слава Богу, всё обошлось. Женщины поразительно живучи — она выкарабкалась.

Я поговорил с мужем, это было похоже на допрос. Вмешательство произвела некая «баушка», древнейшим способом, то есть вязальной спицей. Взяла за это пятьдесят целковых. Я о ней уже слышал, в сердцах хотел донести на подпольную абортмахершу (случай, впрочем, не остался без огласки), но было не до того. Мужик был мрачен, мне даже показалось —

не слишком обрадован благополучным исходом. Он был на много старше Катерины (так зовут, кстати, и мою покойную жену), был свояком председателя, того самого, который вскоре провёл мне в больницу электричество. В отношениях с Катериной что-то очевидным образом не ладилось. Ей за тридцать — по деревенским понятиям, почти старая; детей не было; когда я заметил, что, возможно, и не будет, он сказал: «Так ей и надо!» Я спросил: разве ему не хотелось бы сына? — «А у меня есть». (Очевидно, от первого брака). Тут, между прочим, выяснилось, что среди женщин, которые вызвались обслуживать рабочих «Водоканала», варили для них, стирали исподнее, была и Катерина. Я уже упоминал о том, что строительство водопровода вызвало оживление среди местного населения, по большей части состоящего из женщин. Кстати замечу, что надо благодарить Бога за то, что в России больше баб, чем мужиков; случись наоборот, всё полетело бы в тартарары.

Проснувшись после полудня

В те времена, как и теперь, я вёл добродетельную жизнь, другими словами, жил бобылём. Санитарки топили печь в моём доме, мне приносили обед из больничной кухни. Я много работал — с утра в отделениях, после обеда амбулаторный приём, мне помогал фельдшер Ростислав Николаевич, мужчина неопределённых лет, рослый, подтянутый, всегда выглядевший в рабочей форме, в закрытом халате с засученными по локоть рукавами, очкастый и безнадёжно пьющий. Проживал, как и весь мой персонал, в селе; была у него подруга из бывших наших пациенток; однажды я заглянул к ним. В комнате не было ничего, кроме кровати и единственного стула: всё пропили.

Приходилось мне колесить и по округе: на моём участке числилось 12 тысяч, на самом деле население неуклонно убывало — деревня, как по всей России, мелела.

Как-то раз, возвращаясь к себе, я увидел женщину, сидевшую с узелком на ступеньках крыльца. Она показалась мне

знакомой; мы вошли в дом. Она развязала узелок, там были деревенские гостинцы: ватрушки с творогом и завёрнутый в холстинку большой кусок вкусно пахнущего чесноком, свежеспросоленного, розоватого сала. Кроме того, толстые шерстяные носки, связанные ею самой.

Я должен был примерить, подойдут ли, прошёлся в носках по комнате. Она молча, ясно, держа руки под большой грудью, смотрела на меня. Тут только я сообразил, что это та самая Катерина, которую привезли ко мне полуживой. Она промолвила:

«Аркадий Семёныч...»

Я взглянул на неё.

«Возьмите меня к себе».

Я нахмурился, воззрился на неё. Опустив голову, она продолжала:

«Не могу я с ним жить. Возьмите меня... Я всё буду делать».

«Вот как, — возразил я, — что же именно?»

Так она осталась в моём доме, и народ кругом всё это принял как нечто почти естественное, а моё сиротское жильё преобразилось. Разумеется, я спал с Катериной; первое время даже, если позволено будет так выразиться, с увлечением; муж не появлялся, вовсе не давал о себе знать; вечера мы проводили вдвоём, лампа горела на столе, я читал или слушал радио, Катерина вязала, чинила бельё. Она по-прежнему говорила мне «вы». Иногда мы играли в подкидного, я проигрывал и сердился. Ещё она умела гадать. И постепенно я постигал таинственную природу карт.

Поголяв

Боюсь, что я совсем отвыкну от сна, — устал, но не решаюсь ложиться, боюсь не заснуть. Тупо тасую колоду. Давно уже в моём жилище никого нет. В больнице другие люди; дорогу от нас до села размесили грузовики; что-то творится во круг, якобы строится, а на самом деле неотвратимо приходит в упадок. В известном смысле это образ того, что происходит в стране, но мне до этого нет никакого дела. В России не одно

столетие всё валится, да никак не повалится. Слава Богу, что лес ещё не вырубил. Мой дом — моя крепость. Я знаю, что за мной никто не придёт, никто не посмеет ломиться, разве что почтальон раз в месяц приносит пенсию. На худой конец, когда станет совсем немого, я подожгу свой дом. Сторит и вся эта разноцветная компания. Держа карту между ладонями, я переворачиваю, убираю руку — так и есть: он. Не могу сказать, что старый пердун, тот, кто сидит за столом, то есть я, — его двойник; скорее, вассал. С годами картон обтрепался, покрылся трещинками, но мы живы, здоровы, мы окружены послушной челядью, семёрками, десятками, и готовы повелевать; меч по-прежнему в руке старого короля, серебряные локонь спускаются волнами из-под короны.

Впрочем, пора объясниться. Не настолько я свихнулся, чтобы не понимать, что это всего лишь картон. Но дело в том, что изображение, однажды выйдя из-под печатного станка, начинает жить собственной жизнью. Это можно почувствовать, когда имеешь с ними дело. Профессионалы-картёжники подтвердят. И, наконец, в этом можно убедиться, если проследить за мимикой, за выражением глаз. Когда старуха Пик подмигнула Германну, вы что думаете, это выдумка? Как бы не так!

Для них, для этих половинок, лишённых нижней части тела, отчего они не могут двигаться и не могут производить потомство, сознание своего «я», и заносчивость, и упорство, и минутный каприз неизбежны, необходимы: такова их натура. Компенсация увечья! Так что пусть никто не сомневается насчёт моих умственных способностей и психического здоровья. Во всяком случае, у них таких сомнений нет.

Я им сочувствую. То, что они не в состоянии соединиться, мучительно-неутолимое влечение дамы к королю, короля к красавчику-валету, невозможность обладания — разжигает их фантазию, заставляет предаваться бесплодному и безвыходному мозговому сладострастию. И они знают, эти нарисованные чудовища, что здесь исток их чувствительности к красоте. А что же касается нас, кто их тасует, и добывает из колоды, и швыряет на стол, — зависть к игрокам, зависть карт

к тем, кто свободно совокупляется со своими женщинами, — истинная причина их мстительности.

Такова моя философия карт. Усталый и умиротворённый, я с трудом встаю, иду спать.

Сколько-то времени спустя

Не выспался и вообще сбился с панталыку. Уселся было за пасьянс, моё обычное лекарство, — опять не ладится. В чём дело? Сменив колоду, я по рассеянности сунул туда лишние карты: выскочили две дамы Треф. Обе сразу — но ведь это тоже должно что-то означать.

Я позвал к себе старого приятеля Степана Ивановича. Тот совсем состарился, согнулся — тёмный, страшный; краше в гроб кладут. Предложил ему рюмочку-другую. Потом стали пить чай. Мне всё никак не удавалось приступить к своему поручению.

«Ну, как жизнь молодая», — сказал я уныло.

«Да никак».

«Неплохо выглядишь».

«Да уж куда лучше».

«Ничего, мы ещё поживём».

«Поживём, да... — проговорил он. — Больницу-то закрывают».

Как это так закрывают — я был слегка ошарашен. Кто это ему сказал?

«Говорят, народу нет».

Куда ж народ-то девался, спросил я, хотя прекрасно понимал, в чём дело. К этому шло. Пациентов и в моё время становилось всё меньше, теперь в иных деревнях осталось две-три старухи, дома заколочены, а то и вовсе торчат одни закопчённые печные трубы; избы разобраны и свезены в город. И всё же новость была неожиданной, я всё надеялся, что на мой век хватит. Спрашиваю себя, куда же я денусь.

«Самые, можно сказать, исконные места. Скоро вовсе никого не останется», — сказал Степан Иванович.

«Что же будет с больницей?»

«А ничего. Сгниёт и повалится. И всё так. Строили, строили...»

Махнул рукой:

«Нечего тут больше делать. Земли много — продадим нахер американцам али китайцам. Хоть польза какая будет», — заключил он.

Я кашлянул.

«У меня к тебе просьба, Степан Иванович...»

Должен сказать, что я всегда относился с недоверием к так называемой народной медицине. Всё что было в ней ценного давно уже использовано, выделены действующие начала, противопоставлять лечение «травами» научной фармакологии глупо. Но сейчас мне пришлось вспомнить о Старухе. Не зря я пишу это слово с большой буквы. Забыл, как её звали, а может, и не знал. Некогда она вручила мне склянку с бурой жидкостью. Так сказать, последний дар моей Изоры.

Три капли, сказала она, не больше; пять капель выпьешь, увидишь небо в рогожку, а десять — помрёшь. Кажется, я догадывался, что это такое; во всяком случае, убедился, что лучшего снотворного для меня не найдётся. Больше того — лучшего средства восстановить душевное равновесие. Бабусе и тогда было много лет; почему-то я был уверен, что она жива. Я написал несколько слов, сложил записку вчетверо.

«Пошлешь внука, — сказал я Степану Ивановичу. — Да смотри, чтобы сам он не притрагивался».

Я решил как следует выспаться и не стал дожидаться ночи, на исходе седьмого часа накапал в кружку с водой. Семь — священное число, да и карта, которую я вытянул наугад из колоды, оказалась семёркой. Сперва заснул крепко, но потом стало сниться. Будто бы, наскучив валяться, я решил пройтись. Ночь ясная, звёздная, поднимая голову от подушки, я вижу над тёмным лесом слегка наклонённый Ковш, но никакой подушки, разумеется, нет, я шагаю, ёжась от ночной прохлады, мимо отделений моей больницы, где я как будто всё ещё работаю. Выхожу на дорогу, сворачиваю в сторону, углуб-

ляюсь в чашу. И с удивлением замечаю вдали мерцающий огонёк.

Сон повторился раз и два. Это начало меня раздражать, я хотел ещё выпить капелек, присланных Старухой, но как нало успел выкинуть склянку. Всё же было любопытно узнать, в чём дело, кто там разжёт костёр. Не хватает только лесного пожара. Эта мысль заставила меня вскочить с постели, я оделся и вышел. Всё то же самое: корпуса больницы, звёзды Большой Медведицы и смутно белеющий над головой Млечный Путь. В чаще леса огонь.

Я давно потерял тропинку, исцарапался, продираясь через подлесок, временами приходилось идти в обход, огонёк оставался единственным ориентиром, то приближался, то еле светился вдали. Надо бы вернуться, но я потерял дорогу назад, небо заволокло; если пойдёт дождь, огонь погаснет, я окажусь посреди тёмного леса. Выбрался, наконец, на поляну. Костёр догорал, и никого вокруг. Я осторожно постучал в окошко — это был дом лесника. Возшёл на крыльцо. Щёлкнула задвижка, в тёмных сенях на полу косо лежала полоска света, я потянул к себе приоткрытую дверь. Опрятная, уютная деревенская горница, на столе трёхсвечник, на полу чистые половики, в красном углу темно поблескивающие иконы. И здесь тоже никого. Путник тяжело опустился на скамью.

В изодранной одежде, без шапки — потерял в лесу, — с повисшей головой, гость готов был поверить, что грезит; услышав шорох, встрепенулся: к столу, мягко ступая в толстых носках, с двумя тарелками в руках приближалась Катерина. Узкие гранёные рюмки, искрящийся графин с жёлтой, настоянной на лимоне водкой, сало тонкими ломтиками, студень с похожей на изморозь корочкой жира, ровно и важно горящие свечи в серебряном подсвечнике.

«Мне нельзя», — сказал я.

Она вопросительно взглянула на меня, держа графин над моей рюмкой.

«Я выпил эти чёртовы капли. Старуха сказала, ничего спиртного...»

Катя покачала головой, пожала плечами. Мы сидели под углом друг к другу. Я видел её широкое лицо, спокойные серые глаза, тёмноореховые волосы, пухлую шею, большую грудь.

Она пробормотала:

«Ничего, не повредит. Ну... со свиданьем, что ли...»

После первой рюмки мне стало тепло, я смотрел на мою подругу и не мог наглядеться.

Она снова наполнила мою рюмку.

«А ты?» — спросил я.

«Мне хватит. Да и тебе больше не надо».

«Да ладно, — я махнул рукой, — семь бед, один ответ!»

Она строго взглянула на меня. «Будешь много пить — не сможешь».

«Что не смогу?»

«Сам знаешь».

«Катя, — сказал я, смеясь. — Ведь я старик».

«Ну и что?».

Я вспомнил про костёр в лесу.

«Это я разожгла. Чтобы ты не заблудился».

«Да, — проговорил я, обвёл слезящимися глазами посуду, лепестки огня, — я ведь и вправду чуть не заблудился...» И мы оба умолкли, мне казалось, она задумалась о чём-то.

Я сказал ей, что она удивительно похожа на мою жену. А кто же я, по-твоему, был ответ, я и есть твоя жена. Так-то оно так, пролепетал я, вот и две трэфовых дамы тоже... или они у вас называются крести? Это всё капли, объяснил я и вдруг вспомнил: а как же криминальный аборт?

«Я не хотела тебе говорить. И просить тебя не хотела, ведь аборты запрещены. Решила самой выпутываться».

Я чуть не крикнул: да ведь это я, я тебя вытащил! Тебя полумёртвую привезли. Мне было тёмно, я велел подогнать к окнам машину. Разве я спорю, сказала она.

«Говорю тебе, решила сама. Я тебя знаю. С твоей вечной ревностью Ты ведь стал бы меня мучать. Дескать, не от тебя забеременела».

«Конечно, не от меня. От одного из этих мужиков водопроводных»

Мне снова хотелось возразить — и вообще: как всё это согласовать?.. Не отвечая, не споря со мной, знакомым движением сложив руки под грудь, она спокойно смотрела на меня с таким видом, точно всё это уже не имеет значения. Кто старое помянет... Завязав волосы узлом, в одной рубашке, она налила из кувшина горячую воду в корыто, разбавила холодной из другого кувшина. Помогла мне раздеться.

«Ишь, весь в смоле перепачкался... Завтра протопим баньку, а сейчас обмоемся, не лезть же таким в постель...»

Я хотел ей сказать, что вот так же, в корыте на двух табуретках меня купали в детстве. Ну, ну, бормотала она, держа наготове намыленную мочалку в голой руке, кого стесняешься. Расставь ноги пошире...

Высокая белая кровать с откинутым одеялом ждала.

V

Время

Первое, что бросалось в глаза, были плакаты.

«Время — деньги! Ф. Ницше».

«Соблюдайте осторожность при переходе через железнодорожные пути».

«Не курить. Окурки на пол не бросать». И прочее в этом роде.

За барьером сидел неопрятный человек с папиросой. Посетитель снял с руки часы и протянул мастеру. Часовщик отложил глеющий окурочок, отколупнул крышку, вставил в глаз окуляр. Осмотрел механизм, извлёк крохотным пинцетом миниатюрную батарейку, проверил ёмкость. После чего уложил батарейку на место, щёлкнул крышку и положил часы перед клиентом.

Значит, заметил я, глядя на дымящийся окурочок, курить всё-таки можно?

Часовщик сунул папиросу в рот и сказал наставительно:

«Кому можно, а кому нельзя. Часы в порядке».

«Как это в порядке, вы же видите, что́ они показывают».

«Вижу».

«Они не идут!»

«Что ж я могу поделать. Я вам объяснил: механизм в порядке».

«Может быть, стрелки?»

«И стрелки в порядке».

Он взглянул на часы на стене и перевёл стрелки моих часов.

«Видите, они прекрасно двигаются».

Я спросил, сколько я ему должен.

«За что?» — возразил он.

Мне пришлось довольно долго ждать на платформе: бóльшая часть поездов здесь не останавливается. Сойдя с электрички, я перешёл через пути по эстакаде и довольно быстро отыскал улицу, где находилась мастерская, выглядевшая солидней. Здесь ожидало несколько заказчиков, персонал ушёл обедать. Бодро тикали и постукивали часы на полках, на стенах висели лозунги и портрет правителя.

Наконец, явился часовых дел мастер. Очередь дошла до меня, часовщик положил часы на ладонь и задумался.

«Лёха, — проговорил он через плечо. Никто не отозвался. — Кому говорю!»

Лёха просунула голову через дверную щель.

«Ты Нинку видел?»

«Видел; а что?»

«Ничего».

Проверка вновь показала, что часы в порядке. Что же в таком случае было нарушено?

Время зависит от часов, а часы — от времени. Не правда ли, мы не всегда способны постичь эту простую истину, не всегда осознаём, что находимся в заколдованном кругу. Мои взаимоотношения с таинственным феноменом, который выбран здесь в качестве заголовка, побуждают меня вернуться назад.

Главное, на чём я настаиваю, — что бы там ни подумали, — встреча с гроссмейстером мною отнюдь не вымышлена.

Некоторые писатели рассказывают весьма тривиальные истории, а выглядит это так, словно речь идёт о чём-то необыкновенном. Другие сочиняют небылицы, но стараются выдать их за подлинные происшествия. Чего доброго, и меня кто-нибудь примет за вымышленную фигуру. Пусть так; я не возражаю.

Чемодан и рюкзак были упакованы накануне, лыжи с ботинками стоят в углу. Как большинство смертных, я тяну ляжку; как большинство, ненавижу свою работу, вскакивание на рассвете, торопливый завтрак, поглядывание на часы, эту вечную зависимость от минутной стрелки, рабство у круглолицего дьявола. Баста: завтра утром, в первый день отпуска, я отправлюсь на пустующую дачу моих друзей.

Кажется, я был единственный, кто сошёл с поезда на безлюдном полустанке, двери захлопнулись, электричка неслышно двинулась навстречу пылающему зелёному глазу, последний вагон растворился во мгле. Всё слилось кругом в серой близне; часы на столбе, полузасыпанные снегом, показывали невероятное время; призрачная фигура в платке, в зипуне и валенках сгребала снег с платформы. Дачник присел на скамью, чтобы снять городскую обувь, сунул ноги в лыжные ботинки. Несколько минут спустя я полусагал, полускользил вдоль дороги, с брезентовым мешком за спиной, равномерно переставляя палки, везя за собой санки с чемоданом.

Я взошёл на засыпанное снегом крыльцо и отомкнул висячий замок. В доме было холодней, чем снаружи. На кухне постояльца ожидали совок для выгребания золы, щепка и газеты для растопки; в кладовой запас дров, в большой комнате стол, поставец, старая, но исправная пишущая машинка, керосиновая лампа на случай перебоев с током, за пёстрой занавеской широкая деревянная кровать.

На стене висели деревенские расписные ходики; я подтянул кверху гирьку; маятник покачался и остановился. Мои часы, как оказалось, тоже стояли.

Дрова трещали в печке. Чайник кипел на плите. Восхитительное сознание, что не надо никуда спешить, чувство свободы, покоя и одиночества завладели душою странника. Таково

было вступление, первая пришедшая в голову фраза. И точно: наконец-то я принадлежал самому себе.

У меня никого нет. Долгое время женщина, с которой я был связан, сражалась с соперницей, той самой, что стояла сейчас на столе. Клятвы, слёзы, выяснение отношений, постельная забастовка или, напротив, ухищрения любовной техники — всё было пущено в ход, все средства вплоть до обмана, до мнимой беременности. В конце концов на меня махнули рукой. Было ясно, что мною владеет иная страсть. Я остался один, каким и был, в сущности, всю свою жизнь.

Два обстоятельства объясняют, почему до сих пор мною не создано ничего, кроме вороха заготовок: во-первых, как уже сказано, не было времени засесть по-настоящему за работу. Я мечтал о карьере ночного сторожа на каком-нибудь складе, не соблазняющем грабителя, о месте библиотекаря в библиотеке, где не бывает посетителей, мечтал запереться от всех, скрыться, удрать куда-нибудь подальше, вести полунищее вольное существование в тёплых краях, спать днём, проводить ночи за письменным столом. Но есть и другая, более важная причина, она коренится в природе моего замысла. Я не хотел быть писателем как все. Я должен был выдать нечто великое и небывалое. Не роман, не драму, не эпос, но нечто такое, что было бы всем сразу и ничем в отдельности. Если хотите, сверхроман, всеобъемлющий синтез нашего времени.

Пока что моё творение, как плод в материнской утробе, шевелится в моей голове, но дайте срок, думал я, дайте только срок! В горнице стало тепло. Всё ещё длилось позднее утро; закусив из своих припасов, напившись чаю, я собрался было приступить к делу, разложил бумаги, но не мог преодолеть сонливость — действие деревенского воздуха. Кровать, словно любовница, приняла меня в свои объятия.

Сказанное, не так ли, выглядит вполне правдоподобно. Удастся ли мне убедить читателя, что и дальнейшее — чистая правда? Мне приснился звон будильника. Потом оказалось, что это огромные часы бьют на вокзальной башне. Надо было спешить, я втиснулся в автобус, вместе с толпой штурмовал вагон метро; в поезде, в чёрном туннеле, среди мелькающих

огней, мне пришла в голову простая мысль: куда это я несусь, ведь у меня отпуск. Сейчас будет остановка, я вылезу, вернусь на вокзал и поеду на дачу. Но поезд по-прежнему мчался, не снижая скорости, вагон шатался, в чёрных окнах смутно виднелись лики усталых пассажиров, летели тусклые огни, постукивало, посвистывало, и когда я открыл глаза, кровать всё ещё раскачивалась; я поднёс к глазам руку с часами, забыв, что они остановились; белый, бездыханный день стоял за окошком.

Я всё ещё не мог привести себя в форму; на другой день с утра вяло тюкал на машинке, взялся было писать пером, начертил несколько фраз. Наконец, оделся, но на лыжи становиться не стал. Погода прояснилась, небо голубело, был лёгкий мороз. Снег поскрипывал под ногами. Никто не встретился на дороге, я подумывал о том, чтобы проехать две-три остановки до большой станции, где надеялся отыскать мастерскую. Но, не дойдя немного до железной дороги, увидел лачужку с железной трубой и вывеской.

Там висел преискурант, висела табличка с изречением Фридриха Ницше и было жарко от раскалённой печурки; всё это я уже описал. Не стану повторять и то, что я услышал в мастерской рангом выше. Перейду к главному. Начинало смеркаться, когда, проехав сколько-то времени в тряском автобусе, плутая в переулках полудеревенской окраины, перебираясь через сугробы, я, наконец, добрался до места. Часовых дел гроссмейстер обитал в избе-развалюхе на краю заснеженного пустыря. Я отворил калитку, постучал в дверь, в окно. Никто не отозвался. Потоптавшись, я взялся за ручку двери, утонувшую в лохматом войлоке.

Хозяин сидел на низкой тахте.

«Меня, — пролепетал гость, — направил к вам...»

Гроссмейстер, косматый, бородатый старик с характерной внешностью, перебил меня:

«Небось сказал, что я уже умер...»

Помявшись, я подтвердил, что мастер дал мне адрес «на всякий случай».

«Все они так говорят. Я всем мешаю...»

«Да, но он меня направил...»

Старец не слушал.

«Я имею в виду конкуренцию. И мою квалификацию. Впрочем, я уже не занимаюсь практической орологией».

Посетитель робко спросил, что это такое.

«Наука о часах. Точнее, наука о времени... Что случилось? А-а, — пробормотал он, мельком взглянув на мои часы, — можете не снимать. Я и так вижу, в чём дело».

«В чём?» — спросил я, озираясь.

«Вот там табуретка. Только осторожней... — Он покашлял. — Вы меня очень обяжете, если... э...»

Я вошёл за дощатую перегородку, там находилась кухня.

«А! — махнув рукой, возразил старец, когда я предложил сбегать за чем-нибудь. — К тому же здесь нет магазинов. Поищите... что-нибудь там найдёте. Осторожнее с газом».

Кое-что нашлось; я разложил снедь по тарелкам. Гроссмейстер лежал на тахте бородой вверх. Я остановился посреди комнаты, с медным чайником в одной руке и бутылкой вишнёвой наливки в другой.

«Поставить на стол, — сказал хозяин, не открывая глаз. — Чашки и прочее в буфете. Зажечь свет. Теперь помоги мне...»

После двух попыток удалось сесть. Старик глубоко вздохнул. Голая лампочка горела под потолком. Он прошествовал к столу.

«Дело в том, что... м-да. А это что такое? Где взял? Там есть лучше!»

Вдвоём отправились на кухню, он давал указания.

«Вынужден прятать от дочки. Дочка иногда приезжает».

«Откуда?»

«Откуда... Из Израиля, естественно! Два раза в году, осведомиться о моём здоровье».

«Вы боитесь, что она всё выпьет?»

«Тоже не исключено».

Явились рюмки-пейсаховки. Мы вернулись в комнату с коньяком «Реми Мартен», правда, оказалось, что в чёрную бутылку налит напиток маркой похуже.

«Тебя интересует, в чём дело. Дай-ка мне часы... Стоят, ты не ошибся. Часы, которые стоят, дважды в сутки показывают

верное время. Это давно известно. Это установил автор Шулхан-Арух, Великой Трапезы, к сожалению, его имя осталось неизвестным. Не исключено, что у книги вообще не было автора».

Я спросил, что это за книга. Дед молча оглядел меня.

«Когда же она была написана?»

«Написана? Она была продиктована!»

Выпили, старик жевал колбасу, гладил бороду. Я снова наполнил пузатые стаканчики псевдоконьяком.

«Тебя, стало быть, интересует, что же произошло... Часы в полном порядке, эти прохвосты тебя не обманули».

Напиток оказал своё действие. Старец стал расплываться в тумане. Возможно, оттого, что я ничего не ел с утра. Что значит — в порядке, когда они не в порядке! Гость почувствовал, что он плохо понимает хозяина. Разумней было отложить дело до другого раза; я пробормотал:

«Вы, наверное, устали. Уже поздно...»

«Устал? Очень возможно. Всё может быть... даже то, чего быть не может».

Пожалуй, пролепетал гость, я поеду...

«Поедешь, куда? Впрочем, поезжай... поезжай. Ты прав, я действительно утомился. Ты спросишь, от чего. От этой жизни, разумеется. От этой гнусной жизни. От недоброжелателей, и от себя самого, и от женщин...»

Женщин, каких женщин?

«Как это, каких. Меня посещают женщины. Главным образом по ночам. Я всё равно не сплю... А кстати, ты... Кто ты такой? Осмелюсь осведомиться. Но только правду. Правду!»

«Может быть, перенесём этот разговор на завтра...»

«Не увиливай!»

Я объяснил, что занимаюсь литературой. Пишу.

«Угу. И что же ты там пишешь?»

«Где — там?»

«Где-нибудь. В твоей конторе. Или, может быть, это министерство? Верховный Совет?»

«Верховного Совета давно нет. У меня отпуск. Целых три недели!»

«Откуда это известно, что три недели?»

Я развёл руками.

«Ты не можешь этого знать, — сказал, погрозив корявым перстом, часовых дел гроссмейстер. — Ничего утверждать невозможно, коль скоро часы остановились. А вот я тебе сейчас расскажу, в Мидраше есть одна притча...».

«Завтра!» — взмолился посетитель.

«А вот я тебе расскажу. Однажды Гейне... знаешь такого поэта?»

«Никогда не слышал».

«Тем хуже для тебя. Однажды Гейне пришёл к Ротшильду. Это был такой банкир — тоже, между прочим, аид. Что подедаешь, кругом одни евреи. Ротшильд жил во дворце. — А, дорогой Гейне! Наконец-то вы посетили мою конуру. — Нет, говорит Гейне, я пришёл взглянуть на собаку. Смешно? Не смешно? У тебя нет чувства юмора. Так вот. В Мидраше есть притча. Один архитектор пришёл в гости к торговцу шерстью. Ты меня слушаешь?»

Гость кивал тяжёлой головой.

«Пришёл к торговцу. А шерсть, да будет тебе известно, дело прибыльное. Особенно там, где холодно... Вот они ходят из комнаты в комнату, из одного зала в другой, купец показывает свои богатства. Потом вышли в сад, поглядеть на дом снаружи. Не дом, а дворец. Не хуже, чем у Ротшильда. Архитектор смотрел, смотрел... у-ах-х!»

Мне показалось, что и гроссмейстер вот-вот заснёт, я подлил ему. Старик опрокинул стопку в рот.

«...и хвалил, потом говорит: хотите, я построю вам новый дворец? — Ещё лучше? — спрашивает торговец. Архитектор помялся, нет, говорит, не обязательно. Но зато это будет новый дворец. — Ну и что? — Как это, что? Новое всегда лучше старого! — Ты так думаешь? — сказал торговец. — А ну иди отсюда вон!.. Это я не тебе, — пояснил гроссмейстер, — это я рассказываю... Я к тому, что ты собираешься стать писателем. Строить новый дворец...»

Не стоило тащиться к нему, слишком дорог каждый день отпуска. Время было позднее, я остался у него ночевать. В кладовке нашлась старая раскладушка.

Ночью почудилось, что кто-то топчется на крыльце. Могли я утверждать, что высокая белая фигура, которая прошла мимо меня, не привиделась мне? Но если это и был сон, то не мой. Я отнял у гроссмейстера его сон, не имея на это никакого права, сейчас, подумал я, он проснётся в гневе и выгонит меня на мороз. Я лежал на кухне, женщина в белом — возможно, это была рубашка — прошествовала в комнату хозяина. Я слышал, как она ходила по комнате. Старик что-то пробормотал. Она встала в дверном проёме, босая, с распущенными волосами. Закрытыми глазами уставилась на меня.

Утром я отправился за харчами. Пришлось довольно долго разыскивать магазин. Когда я вернулся, хозяин, как вчера, сидел на тахте. В доме было тепло. Я не стал спрашивать, кто затопил плиту на кухне. Кажется, он угадал мой вопрос: подмигнул, описал в воздухе нечто округлое, сужающееся и снова округлое. Уселись за стол. Потом, сказал гроссмейстер, он сводит меня кое-куда, ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Для начала он испил из пузатого стаканчика и шумно втянул воздух в широкие волосатые ноздри.

«Без ложной скромности, да. Могу без ложной скромности сказать, что я более или менее разбираюсь в двух вещах. Которые так или иначе соприкасаются. Во-первых, в часах, это уж само собой, а во-вторых, я знаю толк в женщинах».

Гость спросил, какая между ними связь.

«О! и немалая. Сейчас, сейчас, — сказал он, видя, что я нервничаю, — куда ты торопишься? Они же всё равно стоят. Несколько теоретических замечаний. Наш мир, чтоб ты знал...»

Он вонзил зубы в огромный бутерброд с ветчиной. Трефное его не смущало. Жуя, он с презрением оглядывал своё жильё.

«Вся эта юдоль, чтобы не сказать хуже... одним словом, наш мир — это тусклое отражение высшей реальности. Всё,

что происходит наверху, так или иначе отражается в низших сферах, за всем, что делается внизу, наблюдают свыше. Но есть некий узел соответствий, угадай: какой? Женщина!»

«Может быть, — заметил гость, — мы всё-таки двинемся? Это далеко?»

«Моя мастерская? Нет, рядом...»

По узким дорожкам мы пробирались через сонную окраину, которая так и не стала городом, перестав быть деревней. Гроссмейстер переставлял ноги в огромных валенках, то и дело проваливаясь в снег. Его одеяние представляло собой гибрид лапсердака и тулупа. Я держал старика под руку.

«Нетрудно заметить, что тело женщины имеет сходство с песочными часами. Может быть, и ты в этом убедился... сегодня ночью».

«Ночью?»

«Ну, ну, молчу. Станешь ли ты утверждать, что это сходство — случайность?»

Топ, топ. Лишь бы не свалиться. Глухой, бездыханный день. Чахлый лес неподалёку. Вокруг ни души. Можно было подумать, что мы за тысячу вёрст от столицы.

«Так вот, чтоб ты знал... Женщина не просто напоминает часы. Что такое часы? Вот, например, твои часы. Которые стоят. Или часы на кремлёвской башне, которые ходят неверно. Показывают одно, а на самом деле всё совсем другое... А что такое песочные часы, что такое вообще — часы? Приспособление, чтобы узнавать, который час, вроде того, как термометр показывает температуру? Допустим. Но, как сказано в Талмуде: возможно, правильным будет и обратное. Часы — это воплощённое время. Не я, конечно, это открыл. Это известно очень давно. Мир неудержимо стареет. Но! Достаточно перевернуть часы, и что тогда? Песок посыпется снова. Тебе понятно?»

«Более или менее. Но вы говорите, женщина. Женщин много...»

«Много, это верно. Пожалуй, даже слишком. Ходят, ходят, конца им нет...»

«Вы имеете в виду...»

«Да. Это, знаешь ли, утомительно. И чего они ходят? Каждая предлагает себя, точно я святой Антоний. Каждая думает, что она одна на свете...»

Я чуть было не сказал: но ведь одна и приходила.

«Далеко нам ещё?»

«Недалеко. Надо пройти лес».

«Вы говорили, рядом».

«Кто это говорит? Пройдём через лес, потом будет поворот. А куда торопиться...»

«Вы, наверное, устали».

Я разбросал ногой снег, дед сидел под деревом, выглядывал из-под косматых бровей, как волк из кустов.

«Есть женщины, — продолжал он, очевидно, попав на любимую тему, — и есть Женщина. Для Того, кто создал мир, нет явлений, есть сущности. В своё время делались попытки взглянуть на мир с точки зрения самого Творца».

Мне стало скучно. Отвести полоумного старца домой и откланяться.

«Ты скажешь, что это невозможно — увидеть мир глазами Творца. Но ведь написано, что Бог создал человека по своему образу и подобию. Значит, человек в состоянии проникнуть в мысль Бога. Так вот, с точки зрения Творца, женщина, чьё тело не зря напоминает песочные часы, — это и есть время, ставшее плотью».

Я помог ему встать на ноги, и мы, наконец, пришли.

Дом был похож на амбар. Кроме того, он походил на конюшню, на ковчег, на молитвенный дом или уж не знаю на что. Из железной трубы летели искры. Гроссмейстер говорил, что не занимается больше практическим ремеслом. Чем же он занимался? Он поцеловал пальцы и коснулся мезузы, косо прибитой к дверному косяку, мы вошли, дед плюхнулся на скамью, навстречу вышла, зевая, корявая баба в кофте, в ватных штанах, поверх которых символически была надета юбка.

Старик пробормотал:

«Ночь не спала, вот теперь и отсыпается... Что нового, тётя?»

«Давай, давай, — приговаривала она, — поднимай ногу...»

Она опустила на колено, кряхтя, стянула с гроссмейстера сперва один, потом второй валенок и при этом чуть было не повалилась сама. Я помог старику выбраться из тулупа.

«Я спрашиваю — какие новости?»

Ответа не последовало, мы смотрели вслед удалявшейся сторожихе, она понесла сушить валенки.

И в общем-то мало походила на Женщину его философических грёз.

«Н-да», — веско сказал он. Я спросил, не она ли приходила ночью.

«Она, кто же ещё. Конечно, не в таком виде. Что это за вид? Ни мужик, ни баба».

«Это ваша жена?»

«Что значит жена? Согрешили когда-то. Было дело... Вот с тех пор ко мне и приклеилась».

Почему, спросил я, вместо того, чтобы выяснить, что в концов концов случилось с моими часами, можно ли отремонтировать или надо их просто выбросить, — почему он увиливает? Причём тут иудейские бредни, заплесневелые древности?

«Заплесневелые, много ты понимаешь... Отвечаю: очень даже причём. И мой отец, и дед, и прадед были часовщиками. И вообще, часовое дело — традиционное ремесло евреев».

Стало быть, и разглагольствования о времени? Я поглядывал на мастерскую. Дед сидел на табуретке. В стороне, на дощатом столе были разложены инструменты. На стенах, на полках, на полу стояли и висели приборы всех фасонов и, пожалуй, всех веков. Я бы не удивился, если бы здесь оказались часы из эпохи, когда вообще часов ещё не изобрели. Высокий потолок над нами казался меньше пола, как если бы стены мастерской незаметно сужались кверху.

«Чтобы ты не сомневался...» — пробормотал он, пересеживаясь к столу. Он оглядел с обеих сторон мои часики, поднёс к уху, к носу. Вскрыл, вставил в глаз окуляр, обмахнул механизм крохотной кисточкой. Втянул в ноздри воздух и важно кивнул самому себе. После чего отложил окуляр и щёлкнул крышкой.

Сколько я ему должен, спросил я. В конце концов, это был часовщик, занятый своим делом.

«Нисколько. Или столько, что ни ты и никто другой никогда не сможет заплатить».

Моё терпение иссякло. «Знаете что...» — сказал я.

«Знаю».

«Что?»

«Ты хочешь сказать, что тебе ужасно приспичило написать обо мне. Не знаю только, что: балладу, поэму? Роман?»

«Откуда вы это взяли?»

«Ты же говоришь, что ты писатель».

«Да, но...»

Гроссмейстер покачал бородой.

«Ни к чему. Что ты можешь обо мне сказать? Что вы все можете обо мне сказать? Всё давно уже сказано и написано».

Усмехнувшись, я спросил, кто же это написал. Где?

«Я отвечу. Например, есть целая глава в Книге Сияния. В комментариях Моше бен Шимона тоже много обо мне говорится. Да мало ли где... Но ты затронул любопытную тему. Почему орология — традиция евреев? Могу объяснить. Есть китайцы, есть индусы. Китайцы утверждают, что они существуют три тысячи семьсот лет. Поди проверь... Индийцы немного скромней, но тоже, знаешь ли... Евреям 3200 лет. Если не больше. Но Индия и Китай — это большие страны, народу много, и народ там жил постоянно. Иудеи — народ маленький, самое большее, сколько их было когда-то, — тринадцать, может быть, пятнадцать миллионов... И у них давным-давно нет своего дома. Почему? Потому что иудеи — это не народ Пространства. Это народ Времени... А теперь пошли».

«Куда?»

«В ту комнату, куда же».

Я понял, откуда летели искры: в каморке за перегородкой находился очаг с дымоходом. Что служило горючим материалом, решить было трудно. В круглом каменном углублении, ограждённом для безопасности кирпичами, плясал огонь. Очевидно, мастерская обогревалась таким архаическим способом. Почему не поставить обыкновенную печку?

«Глупец. Это не для тепла».

«А для чего?»

«Неужели непонятно: это часы!»

«Как это, часы?»

«Вот так; очень просто. Стрелки — языки пламени».

«Сколько же времени показывают эти часы?»

Старый оролог выставил перед очагом ладони с растопыренными пальцами.

«Это что, — спросил я, — какой-то знак?»

«Делай как я... Время стораёт в этих часах. Творец непрерывно сжигает им же созданное время. Или, что то же самое, развоплощает. Так спадают одна за другой материальные оболочки... Уходит видимость. Подумал ли ты о том, что служит для этих часов топливом?»

«М-м...»

«Мы! — сказал он торжествующе. — Мы все: ты, я... Наше тело, наш мозг, сердце, наши органы деторождения и с ними все, кого мы произведём на свет, Время стораёт в нас самих и мы вместе с ним».

«Угу, — сказал я. — Ничего себе».

«Я вижу, ты кое-что начинаешь понимать. Можно сделать часы, где на циферблате вместо цифр будут одни чёрточки, можно вовсе без циферблата. Можно — у меня есть такие — сконструировать часы, состоящие из одного маятника, можно и без маятника. Можно вообще без ничего — без корпуса, без механизма... одним словом, без всего!»

Мы поднялись по лестенке, наверху было ещё одно помещение. Но тут стены расходились, пол был меньше потолка.

А что здесь находится, спросил я — или подумал — веря и не веря.

«Ничего. Ты сам видишь, весь песок высыпался вниз. — Я не стал спрашивать, что за песок, где этот песок. — Пошли, — сказал он, — здесь долго нельзя оставаться. Взгляни на эти стены — и прочь».

Мы засиделись в мастерской, среди стука и тиканья. Старик философствовал, говоря, что никто не знает, в чём сущ-

ность времени, нам доступны лишь его проявления. Но можно представить себе, что такое отсутствие времени.

«Смерть. Да, юноша, — продолжал он, — для мёртвых время ничего не значит, они находятся в пространстве, где часы стоят. Где они и не нужны. Где времени нет, или, что то же самое, в заповеднике абсолютного времени, освобождённого от всех своих свойств и всех проявлений. Ты только что находился в таком очищенном времени, там, в верхней половине... Побудь мы там ещё немного, и нас бы уже не было в живых».

«Берегись, — проговорил он, — твои часы остановились. Как их снова завести? Ты можешь мне ответить?»

Мне незачем (как уже сказано) оправдываться, доказывать правдивость моего сообщения, я не могу сослаться на свидетеля: несколько времени спустя гроссмейстер сгорел во время пожара своей мастерской. Нет необходимости и называть себя, читатель вправе принять рассказчика за вымышленное лицо. Но вопрос, который я едва решаюсь задать себе самому, сверлит мою память: что если мои часы остановились навсегда?

VI

Светлояр

Наконец-то! В пахучей мгле пронеслись огни, простучали колеса на стыках, проследовал десятичасовой скорый. Пора. Не слышно голосов в коридоре. Синий свет ночника вздрагивает в такт биению сердца. Пора! Быстро, уверенно, сам удивляясь своему проворству, я отлепил датчики, отсоединил трубки, сбросил покровы и путы, сел на своём ложе, мои голые ступни не доставали до пола. Я проскользнул по коридору мимо столика, на котором горит лампа под чёрным колпаком, что-то несло меня, я не шёл, я летел — тёмный, тёплый ветер пахнул в лицо. Ни малейшего представления, куда я направляюсь, — знаю только, что надо спешить, у меня мало времени. Выбрался из колючих кустов на берег.

Неширокая, тусклая, как поверхность металла, река, дымящееся поле с едва различимой кромкой леса на горизонте.

Луна поднялась уже высоко. Луна превратила в пространство сна обыкновенный русский пейзаж. Скользя и хватаясь за что-то, я съехал с глинистого обрыва на влажный холодный песок, и хотя здесь, внизу было свежо, подумал, не войти ли мне тоже в воду, — я говорю «тоже», потому что в реке, в каких-нибудь десяти метрах от меня, стояла по пояс в воде русалка.

Тут я вспомнил: они меня хватятся! Прибегут за мной... Глупость, я недосыгаем. Да, почти со злорадством я подумал о том, что они до меня уже не доберутся, это мой последний, наконец-то удавшийся побег. Да и кто хватится, кто заметит? Они думают, что я — это тот, кто лежит на высоком ложе, в застеклённом боксе, точно музейный экспонат; меня зовут — я не слышу, колят иглой — я не шевельнусь, сердце сокращается, зрачки слабо реагируют на свет, я не замечаю никого и ничего. Пусть делают с моим телом что хотят, они не могут понять, что мне попросту не до них, не до всех этих пустяков, у меня остаётся слишком мало времени. Я переминаюсь в нерешительности на холодном песке, сейчас брошусь в воду, смотрите-ка, она зовёт, манит пальчиками еле заметно, та, что по пояс в воде. Но я боюсь воды, никогда не умел плавать; страх сидит во мне с тех пор, как я провалился под лёд, как если бы вода не простила мне, что я спасся.

Я всё это помню. Я покинул самого себя, я *над* моим померкшим сознанием; я — всё ещё тот, кто лежит за стеклом, но он — не я, меня нет, и никогда им этого не понять. Прошла весна. Прошли лето и осень после смерти моей матери, настала зима, и было необыкновенно весело. Играла музыка: радио в репродукторах или, может быть духовой оркестр. Вдоль всей аллеи вокруг пруда ярко-тусклые фонари. Народ съезжает на санках на нерасчищенный лёд, копошится в снегу, стоят няни-домработницы, дяденька бранит дочку за то, что она запачкала варезки. А я бегу к середине пруда, там в снегу торчит палка, надо мной высокое тёмное небо, я хватаю палку и, как во сне, молча, медленно погружаюсь, в ботиках и рейтузах, в пальто с поднятым воротником, вокруг которого обмотан шарф, в шапке с завязанными ушами, всё ниже ухожу по

грудь, по шею, вокруг ледяные обломки, тёмная пахучая вода, мои руки торчат над водой, и так же молча дяденька, подкравшись по кромке льда, одним рывком вытаскивает меня из воды.

После этого он опять стоял рядом с дочкой и, должно быть, доругивал её за испачканные варежки; музыка провожала нас, мы брели домой с Чистопрудного бульвара, оба с громким плачем, по переулку, мимо домов, мимо поликлиники, я и домработница, и мне было стыдно, что я обмотан её платком, как девчонка, вода хлюпает в ботинках, капает с рукавов и превращается в сосульки. Я сижу в корыте с горячей водой, и тотчас наступает утро.

Бегом, босиком, по сырой траве, жмурясь от яркого и горячего солнца, я несусь к качелям, они уже там, сказать или не сказать? Подбегаю и говорю:

«А я тебя видел».

Не следовало сразу открывать тайну, а надо было помучать её намёками, но надо спешить, у меня мало времени, мы приехали неделю тому назад, солнце блестело между верхушками деревьев, и луг сверкал, усыпанный синими брильянтами, мой двоюродный брат по имени Натка покачивался на доске, хозяйская дочка, в пёстром платье без рукавов, светлоглазая, загорелая, что давало ей непонятное преимущество перед нами, стояла, приставив к глазам ладонь козырьком, делала вид, что смотрит не на меня.

«А я видел».

Она опустила руку и стрельнула глазами в меня, словно интересуясь, кого это я видел.

Реку, чёрную, как олово, хотел я сказать, и дымную даль, и тебя в реке, ты покачнулась, выходя из воды, лунный бисер одел твою наготу, я всё видел, круги незрячих глаз, ямку между ключицами, буторки сосков, твой впалый живот и бёдра, едва успевшие округлиться. Врёшь, сказала она, кто это купается ночью. Ты, сказал я, мне хотелось её подразнить, теперь я знаю, какая ты.

Какая, спросила она надменно.

Мы стояли на доске, Натка, тощий, как щепка, в трусах и сандалиях, на одном конце, я на другом, Соня сидела посредине, верхом, мы по очереди приседали и отталкивались, скрипели цепи, медленно, неохотно, всё шире и всё стремительней раскачивались качели, летели светлые волосы Сони, летели её загорелые ноги, вспархивало её пёстрое платье, и ещё, и ещё, и всякий раз я видел перед собой застывшее в ужасе и восторге лицо моего двоюродного брата, приседал и отталкивался, и уносился ввысь, вперёд, вися на цепях, к летящим навстречу небесам. Мы остановились. Руки дрожали, всё ещё вцепившись в цепи. Она слезла с доски. Я спрыгнул следом.

«Ты куда?» — лениво, сонным голосом спросил Ната.

Меня несло куда-то через луг.

«Эй, ты!»

Голос донёлся, как эхо, издалека. Они не знали, что времени в обрыв, что годы не имеют значения и одно тянет за собой другое. Обернувшись, я в последний раз увидел хозяйскую дочь, она всё так же стояла, приставив к глазам ладонь, выбрался из кустарника, прокрался по коридору. Только что отгремел вдали ночной десятичасовой поезд.

То, что проплывало на дне моих глаз, подлинное отражение действительности, никак не согласовалось с окружающими людьми и предметами, они мешали мне своей мнимостью. Я чувствовал, как надо мной склонилась фигура в белом. Дежурный врач приподнял мне верхнее веко, в чём не было никакой надобности, мои глаза были открыты. Тело, с которым они что-то делали, не было моим телом. Настала глубокая тишина во мне и вокруг меня; неслышно двигались фигуры; я всё ещё был жив. Они меня сейчас убьют, с ужасом подумал я, — но нет, они хотят продлить мне жизнь, а что это, собственно, значит? Сейчас, когда я начинаю что-то понимать. Мне хотелось крикнуть: оставьте меня в покое, дайте додумать самое главное!

Что же именно, что?.. Что ты хочешь додумать, спросил врач или кто он там был. Но так же, как невозможно выразить в двух словах главный вопрос, невозможно дать и ко-

роткий ответ. Я понимаю — или догадываюсь, — вопрос о смысле моего существования есть одновременно вопрос, где оно, что оно такое — моё существование. В каких глубинах или, может быть, на каких высотах пребывает моё «я»? Кто задаёт этот вопрос? Стоит только спросить, что такое мое «я», как оно исчезает. Прячется в самом вопросе. Положим, я сознаю себя; но я сознаю и то, что во мне живёт это сознание, а значит, живёт и сознание моего сознания. Вот так и гоняешься между зеркалами за собственником двойником, за призракком самого себя.

Только сейчас до тебя доходит. Всю жизнь было некогда, жизнь отвлекала от жизни, вот в чём дело, милейший, не хватало терпения, не было смелости, мудрости всмотреться в неё. И только в эти последние мгновения становишься самим собой, сбрасываешь тряпье. Только в эти мгновения ты способен постичь истину. *Ты сам становишься истиной.* Ты, от которого уже ничего не осталось.

Медленно, медленно катятся оловянные воды. Даль в тумане. Завтра будет солнечный день. Завтра будут летать качели. Ещё ничего не произошло, вся жизнь впереди. Если бы знать, что ждёт. Если бы не знать... Еле слышный звук рождается в тишине, слабый плеск доносится, удар хвостом-плавником. Шевельнулась вода, пошли круги, сейчас она вынырнет.

Нагота не существовала сама по себе, кто-то должен был её видеть. Стоило потерять её из виду, как она исчезала, и осиротевшая память могла лишь перебирать мокрое покрывало тайны. На другой день, когда я увидел Соню и моего брата на площадке возле качелей, где был насыпан песок, и она стояла, заслонясь от солнца ладонью, голоногая и загорелая в своём пёстром платице, когда я сказал с замиранием сердца, со злорадством, словно то, что произошло ночью, давало мне власть над ней: а я тебя видел! — то сейчас же почувствовал, что от моего самодовольства ничего не осталось, открытие не имело никакой цены. Секрет её тела, приоткрывшийся было, чтобы увлечь за собой в воду случайного соглядатая, замкнулся, как створки раковины, божественная нагота заволоклась, я глядел на Соню, словно никогда не знал её без одежды, я ни-

чего не присвоил из увиденного ночью, в сущности, ничего и не видел, и презрительная гримаска на её лице как будто подтверждала это.

Нужно было зажмуриться, перевести стрелки назад, что и случилось, и опять (или впервые?) в реке поднялась фигурка, вся в серебряной чешуе, шла и не шла, танцуя, балансируя тонкими руками, выступили соски, в тёмной воде просвечивал лунно-белый живот, бледная чаша бёдер; было зябко, холодно сидеть на песке, я встал, в этот час вода, разогретая за день, была теплей воздуха, плавать я не умею, но так тянуло искупаться! Это был не сон и не обман зрения, но моё зрение соткало из лунных волокон её округлившееся тело, и это тело тотчас перестало существовать, как только я вспомнил, что пора возвращаться, и я вовсе не был уверен, что видел её на самом деле, когда, подбежав к качелям, объявил или, может быть, хотел объявить: теперь я знаю, какая ты из себя.

Она посмотрела на меня с сонным, туповатым выражением, открыв рот, медленно наклонилась и стала яростно царапать свои голени цвета, который бывает у кожурки арахиса, оставляя белые полосы ногтей на загорелой коже.

«Какая?» — спросила она.

Подозреваю, что мой двоюродный брат Натан слышал эти слова. Что и подтвердилось. Кстати, он пропал без вести, и я тоже отправился бы на фронт, если бы война продлилась до осени, но в то утро никто ни о чём не подозревал. Он спрыгнул с качелей, отозвал меня в сторону и сказал, что нам надо поговорить. Нет, это мы потом пошли с тобой в лес, возразил я, а перед этим качались втроем на качелях. Он как-то легко со мной согласился, пожалуйста, сказал он надменно, если ты настаиваешь. Я не настаиваю, ответил я, просто так было. Мы вознеслись вверх, и полетели вниз, и снова вверх, и следом за нами проваливались и взлетали деревья, взлетало сонино платье, и её руки вцепились в доску, и глаза стали неподвижными. И особенным шиком, особым эффектным трюком было повиснуть, запрокинув голову, на цепях в мгновение, когда ты долетал до уровня перекладки, знать, и подумать молниеносно, что́ будет, если пальцы вдруг разожмутся.

Всё это продолжалось до тех пор, пока Натка не сказал ей: ты побудь здесь, у нас мужской разговор.

«Надеюсь, ты не станешь отрицать, — сказал он, специально выбирая взрослые выражения, — надеюсь, не станешь отрицать».

«А в чём дело-то?» — спросил я, прекрасно понимая, в чём дело.

Он сказал: «Мне всё известно».

У меня заколотилось сердце, и я спросил: что известно?

«Всё», — отвечал он.

Мы выбрались из чащи, и пламя небес ударило нам в глаза; мы зажмурились.

«Что это ты там говорил, что ты её видел, — где ты её видел?» — небрежно спросил Натка, и я понял по его тону, что он всё-таки знает не всё.

Он поднял голову к верушкам деревьев и сказал, что сегодня особенный день: солнцестояние. Я впервые слышал это слово, но на всякий случай переспросил: сегодня?

«Я бы вызвал тебя на дуэль», — продолжал он задумчиво, и я понял, что задавать вопрос, где он достанет оружие, излишне, так как его отец был военным, носил форму и портупею, и шпалу в петлице. Кроме того, я давно догадывался, что между Наткой и Соней что-то есть. Они были вместе, когда утром я сбегал со ступенек террасы. У него было преимущество, он был старше меня почти на два года. Но зато я видел то, чего он, конечно, не видел, и оттого, что он не знал, *что именно я видел*, я почувствовал, что в руках у меня козырь.

«Ну и вызывай», — сказал я.

«Жалко».

Я не понял.

«Убивать тебя жалко, — сказал он. — Впрочем, — и это тоже было особое, никогда не употреблявшееся слово, — *впрочем*, ты ведь всё это выдумал».

«Что выдумал?» — спросил я, сбитый с толку.

«Что она купалась ночью, всю эту чепуху. Ведь на самом-то деле, — добавил он, — ты там».

«Где — там?»

«В реанимации, где же ещё».

«Ну и что», — сказал я растерянно. Значит, он всё-таки знает. Где я и что со мной, всё знает. В это время мы уже пересекли поляну, прошагали по лесу, продрались через кустарник. Перед нами была река. Внизу, под обрывом, полоска песка. Вода у берега была тёмной, как графит, а дальше сверкала так, что было больно смотреть. «Мне её переплыть, раз плюнуть», — сказал Натан.

Мы побрели назад. Он стоял у сосны и стругал кору перочинным ножиком, который отец подарил ему ко дню рождения. Это было приятное занятие, резать мягкую сосновую кору. Заострить нос, подрезать корму и выдолбить углубление. Так как же, сказал он небрежно, не поднимая головы. Мы молчали, он отшвырнул кору, что как? — спросил я, и мы двинулись дальше.

«Имей в виду».

«Что — имей в виду?»

Я продолжал думать о реке, которая днём казалась совсем не той, в которой купалась Соня, и вдруг меня осенило, что днём она обыкновенная девчонка с исцарапанными ногами, а ночью русалка, и в этом скрыта разгадка, почему её нагота кажется невероятной, несуществующей наутро, — но я-то знаю, я видел. Конечно, я не стал об этом говорить, уж очень это всё звучало по-детски.

«Имей в виду, — проговорил Натан, — что она мне... — и тут он употребил грубое слово, которое я, конечно, знал, но сейчас оно было как удар молотком по темени. — Она мне дала!»

Я остоленел.

«Когда?»

«Тебя ещё не было».

«Врёшь», — сказал я.

«Хочешь, спроси у неё. Она мне отдалась. Я её, — он сложил колечком два пальца и всадил туда палец другой руки. — Это чтоб ты знал».

Он взял нож за кончик лезвия, примерился и метнул в дерево. Я вырвал нож из ствола, отступил на пять шагов и тоже

метнул, нож ударился о ствол и отлетел в сторону. Мне пришлось подобрать его и вручить Натану. А ты что, разве не заметил, сказал он немного погодя, но я не понимал, что он имел в виду. По походке, объяснил Натка, можно сразу узнать, целка или нет. Мы подошли к веранде, кто-то выбежал навстречу, это была моя тётя, мать Натана, из кухни послышался голос: «Молоко убегает!», но тётя даже не обернулась, она молча смотрела на нас, закрыв рот ладонью, оказалось, что началась война.

Он, конечно, всё выдумал насчёт походки, и о том, что у него было с хозяйкиной дочкой, но мне нужно было знать наверняка, я решил спросить об этом Соню; только что проследовал десятичасовой скорый, стеклянная дверь приоткрылась, неслышно вошла в белом, но не дежурная сестра, а гостя; сестра стояла за её спиной. Сестра что-то объясняла укоризненным шепотом, по-видимому, хотела сказать, что это не время для посещений и что ко мне вообще никого не пускают.

Не на что было сесть, она стояла возле моего ложа, так называемой функциональной кровати. Я сначала не понял, кто это, за столько лет она изменилась до неузнаваемости, но не хотел быть невежливым, сделал вид, что узнал её. Ты не хочешь меня поцеловать, сказал я с упрёком. Она наклонилась и коснулась губами моего лба. По-моему, он умер, сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Сестра помотала головой. Мне стало смешно, я хотел сказать, что я действительно отдал концы, но не для неё, ведь иначе она бы не пришла.

Как замечательно, хотел я сказать, как прекрасно, что ты здесь, Соня... и тут же спохватился, это было недоразумение; ума не приложу, как это я не заметил, что женщина, стоявшая перед мной, босая, в одной рубашке, была вовсе не Соня.

Мне стало стыдно.

Она улыбнулась. «Ничего страшного, ты просто меня не помнишь, — сказала она. — Ты и квартиру нашу, наверное, не помнишь, квартира была пуста, кто-то позвонил с улицы, и ты побежал открывать».

«Нет, — растерянно пролепетал я, — то есть да... То есть как это не помню. Мы жили на первом этаже... А как же Чистые пруды?»

«Ну, это было уже после меня. Это было зимой».

Я всё ещё не мог понять и спросил: «Как ты здесь очутилась?»

Ведь ты, хотел я сказать, лежала в постели. Днём все на работе, в пустой коммунальной квартире, никого, кроме нас, нет. Ты была больна, ты всегда лежала в постели. А я сидел на полу. Вокруг меня виселись вещи. В этой комнате, которая казалась мне очень большой, я был как в целом мире. Я в ущелье письменного стола, между тумбами. Я в убежище под обеденным столом, скатерть, свисающая складками по углам, как занавес, скрывает меня от всех. В эту минуту кто-то позвонил в дверь. Я вылез и побежал отворять.

Я становлюсь на цыпочки, чтобы дотянуться до английского замка. Тотчас парадная дверь распахивается, там стоит незнакомка, и мы оба уставились друг на друга. Удивительная, огненноглазая, в красном, в лиловом, канареечный платок съехал на затылок, у неё чёрные конские волосы и тёмное сморщенное лицо. Моя мама выбежала в коридор, босиком, в рубашке, задыхаясь, схватила меня за руку и захлопнула парадную дверь перед носом у сморщенной тётки.

«В чём дело?» — спросил я.

«Я испугалась. Мы были одни в квартире. Все говорили, что цыганки ходят по домам и воруют детей».

«Тебе, наверное, холодно, босиком, в одной рубашке. Тебе врач запретил вставать».

«Ничего, ничего...»

«Тебе надо в постель».

«Нет, — сказала она, улыбнулась и покачала головой, — не хочу больше».

«Ты выздоровела?»

«Пожалуй. Можно сказать и так. Вот этого, — добавила она, — ты действительно не помнишь».

«Ты, — пробормотал я, — ты... в этой посудине, за мраморной дощечкой? Это ужасно смешно».

«Смешно, но так принято».

«А что там написано?»

«Не знаю. Какое это имеет значение?»

Я согласился с ней, что это не так важно.

«Оставим это, — сказала она. Снова вошла сестра, они пошептались. — Я к тебе ненадолго».

Я ждал, что она меня приласкает, как когда-то, когда я расхаживал по комнате и подходил время от времени к ней. Мне даже казалось, — хоть я и понимал, что это чистая фантазия, — что я подбежал к ней с верёвочкой. «Обвяжи меня». Верёвочка были завязана вокруг пояса и крест-накрест, как ремни на гимнастёрке, сбоку висел карандаш, изображавший шпагу. Но она не шевелилась, молча и безразлично лежала на подушках, её глаза уставились в потолок, тонкие руки покоились поверх одеяла, впрочем, я ошибаюсь, она стояла рядом, молча, не сводила с меня печальных глаз и покачивала головой. Наконец, она прошептала:

«Вот я смотрю на тебя...»

«И что же?» — спросил я со страхом.

«Ты изменился».

И это всё, что ты мне можешь сказать, хотел я спросить и пожал плечами — пожал бы, если б мог.

«Из тебя ничего не вышло».

«То есть как».

«Не знаю. Не вышло, вот и всё».

Эта фраза показалась мне обидной. Я смотрел на мою мать с ненавистью. Я понял, что это и была цель её прихода — уколоть меня напоследок, сделать мне больно.

Она сказала:

«Ты был вся моя надежда. Ты казался мне необыкновенным ребёнком. Ты был похож на меня, а не на отца. А ведь я, что ни говори, была не совсем заурядной женщиной».

Да, думал я или хотел сказать. Ты писала стихи, рисовала, ты закончила консерваторию, ты тоже подавала большие надежды. Ну и что?

«Жизнь была тяжёлой, мы еле сводили концы с концами, а тут ещё эта болезнь. Я так и не оправилась после родов.

Я уже не жила, я угасала. В сущности, это ты виноват в моей смерти».

«Выходит, я остался жить, а ты...»

«То, что я говорю, тебе никто не скажет. Ты никогда не был самим собой, вот в чём дело».

Чушь какая-то, бормотал я, что это значит — не был самим собой. А кем же?

Сестра вмешалась:

«Не надо его волновать».

Я сказал:

«Ты пришла меня упрекать. Ты хочешь отравить мне последние мгновения».

«Опомнись, — проговорила она мягко, — я и не думала. Дурачок. Ведь меня нет!»

И в самом деле, всё разъяснилось. Не на что было сесть. В наброшенном на плечи посетительском халате женщина, которую я не узнал, стояла возле моего ложа. Ты не хочешь меня поцеловать, спросил я. Соня коснулась губами моего лба. По-моему, он... сказала она, повернувшись к сестре, которая стояла за стеклом. Мне стало смешно, если это так, хотел я сказать, то уж во всяком случае не для тебя.

«Я случайно узнала», — сказала она.

Мои губы зашевелились, что́, что ты хочешь сказать, прошептала она, нагнувшись вплотную к моему лицу, да, муж получил новое назначение, мы тут проездом.

«Дня на три», — добавила она, выпрямляясь.

Значит, подумал я — или сказал, — ты сможешь побывать на моих похоронах.

«Ты поправишься», — сказала она.

Я усмехнулся. Сестра за стеклом делала нам знаки, чтобы мы говорили потише. Придёт врач и даст нагоняй. Соня стояла передо мной в лёгком демисезонном пальто, держа посетительский халат в опустившейся руке, из расстёгнутого пальто выглядывало светлое платье, ничего похожего на ту, загорелую, с расцарапанными ногами, которая только что стояла возле качелей, заслонясь ладонью от солнца, и всё же это была Соня.

Я боялся, что она уйдёт; надо было что-то сказать; брякнул наугад:

«Твой муж теперь, наверное, уже полковник».

Ответа не было. Не надо было об этом говорить.

«А помнишь, — спросил я, — как я тебя увидел, ты купалась ночью».

«Купалась, когда?»

«Voici la nudité, le reste est vêtement».³

Что это, спросила она. Я сказал:

«Это такие стихи».

Она растерянно, приоткрыв рот, воззрилась на меня, вероятно, подумала — он бредит, все вы так думаете, хотел я сказать, её губы зашевелились, где это я купалась, о чём ты, бормотала она, как будто сама сомневалась в том, что это она стоит возле меня, она, та самая Соня. И, чтобы окончательно ей доказать, я сказал:

«Перед войной. Вернее, накануне. То есть в тот самый день. А Натку помнишь?»

Я не зря упомянул моего двоюродного брата, мне мучительно захотелось узнать, правда ли, что у них *было*.

Какую Натку, спросили её губы, стало ясно, что она всё забыла, но я настаивал, мне хотелось ей объяснить, понимаешь, продолжал я, для тебя это было давно, а для меня... пожалуй-ста, постарайся, сделай над собой усилие, это не так уж трудно понять. У меня мало времени, но это только так считается, на самом деле для меня времени вообще больше не существует, то есть его нет в том смысле, как его обычно понимают... это верно, что мне осталось совсем немного, вероятно, несколько минут, но опять же всё зависит от того, какой смысл вкладывать в эти слова: несколько минут.

Я устал объяснять то, что, в сущности, не требовало объяснений. Но мне нужно было всё-таки знать. Скажи правду, сказал я.

«Боже мой, — устало проговорила она и провела рукой по волосам, — какая тебе ещё нужна правда...»

«Ты их красишь?» — спросил я.

³ Вот нагота, а прочее — одежда (*фр.*; Ш. Пегги).

«Волосы? — Она усмехнулась. — Ты это и хотел узнать?»

«Это правда, что у вас тогда с Наткой?..»

Она смотрела на меня, вздыхала и качала головой.

«Бедный, милый... Совсем один. Теперь я вижу, что ты действительно очень болен. Позвать сестру?»

Её губы смыкались и снова шевелились, но я понимал все слова.

Но сестра и так не спускала с неё глаз и время от времени делала нетерпеливые знаки за стеклом. Разговор наш прервался, как мне казалось, в тот момент, когда нам надо было так много сказать друг другу. Было невозможно предложить Соне подсесть ко мне, кровать слишком высокая. С ужасом, словно только сейчас заметила, открыв рот и качая головой, она поглядывала на все, что меня окружает, на мои исколотые руки, на аппаратуру. Всё-таки странная идея, пробормотал я, купаться ночью, одной. Между прочим, меня в детстве однажды вытащили из воды, это было на Чистых прудах, хочешь, расскажу? Я провалился под лёд.

Она молчала, смотрела на меня затуманенным взором, — что-то знакомое, сонно-туповатое было в сонином лице, — и все покачивала головой. Дверь открылась, вошёл, прыгая на костылях, Натан. Я рассмеялся.

«Лёгко на помине!» — сказал я.

«Кто это?» — спросила Соня.

Натан сказал: «Побудь там пока. У нас мужской разговор». Он был худ и острижен под ноль.

«Вот видишь, — сказал я, когда она вышла, — она тебя не узнала. Она тебя не помнит».

«А что она вообще помнит!»

«Я как раз собирался спросить у неё...»

«Чего спрашивать, — сказал он презрительно, — конечно, было».

«Но она ничего такого не помнит!»

«Не хочет говорить, вот и всё».

Упавшим голосом я спросил, как же всё-таки.. как это произошло? Ведь мы оба едва успели свести с ней знакомство.

Мой двоюродный брат насмешливо взглянул на меня.

«Вот теперь я вижу. Ты действительно не того. Ведь я это всё выдумал; а ты поверил? Мальчишеское бахвальство. Но признайся: ты ведь тоже придумал, будто видел её в реке?»

Я ничего не ответил, мне не хотелось его разочаровывать. Я испытывал необыкновенное облегчение. Надо было переменить тему.

«Слушай-ка, что я хотел спросить... Ты... действительно?»

«Опять, — сказал он досадливо. — Меня уже спрашивали».

«Кто спрашивал?»

«Там... когда я пришёл. Откуда я такой явился... Да, да, да. Зато ты уцелел. Сумел-таки увильнуть!»

Я хотел возразить, что до меня просто не дошла очередь. Осенью меня бы призвали. Натка поглядел через плечо.

«Покурить охота. А?»

«Валяй, никто не видит».

Он извлёк кيسет и зажигалку из болтающейся штанины.

«Так вот, значит... Обучение, то да сё. А какое там обучение, показали, как надо целиться, и пошёл. Я и воевать-то толком не успел, сразу попали в пекло. — Дежурная сестра появилась за стеклом, он уронил самокрутку и наступил на неё ногой. — Да чего вспоминать. А ты, значит, загибаешься?»

«Уже загнулся», — сказал я.

«Горопишься. К нам никогда не поздно».

«Значит, ты...»

«Так точно. — Он вытянулся и взял под козырёк, придерживая локтем костыль. — Пропал без вести, ваше высокоблагородие!»

На что я холодно возразил:

«Отставить. Без пилотки честь не отдадут».

«А между прочим, где я её оставил... Ты не знаешь?» — пробормотал он.

Я спросил:

«Ты хочешь сказать — убит?»

«Не обязательно. Тут есть разные возможности. Много возможностей. Можно, конечно, сразу отдать концы, это во-первых».

Мы услышали дальний грохот, потом всё ближе.

«Громче! — простонал я. — Ничего не слышу».

Гром, свист.

«Я говорю, первая возможность! — орал Натан. — Мы уже в Кюстрине, до Берлина рукой подать. Двадцать армий, два с половиной миллиона, представляешь? Катюши, гранатомёты, дальнбойные орудия — триста стволов на каждый километр. Подвезли прожектора, я сам видел. Только вот ошибочка вышла, я тебе скажу».

«Тебя убили?»

«Да я не об этом. Мясник этот ошибся».

Я хотел спросить, какой мясник.

«Е...на мать, не знаешь, что ли! А, — он махнул рукой, — что вспоминать. Думал после артподготовки ослепить немцев прожекторами, и — за родину, за Сталина, с ходу займём высоты, а что получилось?»

Он раскашлялся, умолк, мы оба ждали, когда закончится адский свист и грохот.

«В общем, лежим, ждём. До рассвета ещё, наверно, часа три. Впереди у немцев сплошное зарево по всему горизонту, загорелись леса. Короче, всё застлало дымом, и фокус с прожекторами не вышел. Да ещё местность сплошное болото, топь, в канавах вода по брюхо, снег только успел стаять. Побежали вперёд, ура, со знаменем, а где тут побежишь. Техника вязнет, люди еле успевают вытаскивать ноги из грязи. Немцам только этого и надо. Немцы тоже ведь не дураки...»

Не может наговориться, подумал я. А времени в обрез.

«Где это было?» — спросил я.

«Я же говорю — зеловские высоты. Зёлов, есть такой. За Кюстрином километров двадцать. В общем, все там остались. Кроме тех, кто дальше шёл в наступление».

Меня беспокоила мысль: где Соня? Она могла не дожидаться и уйти. Ещё немного, встану и пойду её искать.

«...подорвался на mine или что там, плохо помню, пришел в себя, а не надо бы. Часа три промучился, никому до тебя дела нет, много вас таких. Сначала холодно, потом всё теплее, теплее, и на небо. Шучу... Я, может, там так и остался, война кончилась, а я уже того, сгнил. Вот тебе одна возможность».

«Слушай, Натка, — сказал я. — Может, хватит об этом? Тебе ведь и самому, наверно, не так уж приятно вспоминать. Писем от тебя не было, это мне твоя мама рассказывала, похоронки тоже не было, ты пропал, что с тобой приключилось, никто не знает, ты не вернулся. Так что всё это, наверно, я сам и придумал, мне ведь тоже ничего не известно...»

«Чего придумывать-то, чего придумывать! Нет, ты постой, я ещё не договорил. Короче, я эту возможность не использовал. Подобрали-таки... Ампутация бедра в верхней трети, ничего не помогло, гангрену не остановили, напрасно трудились. Вот тебе вторая возможность. А кстати, — спросил Натан, — не знаешь, долго это ещё продолжалось?»

«Война? Но ты же...»

«Откуда мне знать, — сказал он. — А в общем-то мне всё равно!»

Я почувствовал, что вязну в какой-то путанице. На всякий случай я спросил: а когда, собственно, это случилось?

Человек в шинели крикнул вместо ответа, нагнулся, держась за составленные костыли, и подхватил с пола раздавленный окурок.

«Случилось, и ладно. Могло быть хуже. Могло обе ноги оторвать. И яйца заодно. Хотя — зачем они мне? Всё дело в том... — бормотал он, разглядывая окурок, извлёк кисет из выгоревших галифе, ссыпал остаток табака, сунул кисет обратно, — всё дело, говорю, весь философский смысл в том, что на каждом повороте появляются новые возможности».

«Да, но вероятность бывает разная».

«Что значит вероятность? Даже самая маленькая вероятность возьмёт да и сбудется, а невероятностей не бывает. Вот ты со мной споришь, а сам думаешь: встану и отправлюсь на поиски. Это, конечно, маловероятно в твоём положении. Но нельзя сказать, что совсем уж невозможно. Слушай... а сколько сейчас времени, мне ведь тоже пора».

Сейчас потушат свет, сказал я, только что прошёл десятичасовой поезд.

«Ну и, наконец, еще одна возможность, самый лучший выход».

Он наклонился, повис на костылях, сопел, дышал мне в лицо, «молчи,— зашептал, — никому ни слова!» — и погрози- л пальцем.

«Пропал без вести, понятно? Ничего тебе не понятно! Что это значит? Это значит, пропал и всё, оторвался с концами, и привет. И никто никогда не разыщет... а ты знаешь, сколько таких пропавших? Ничего ты не знаешь. Целое человечество в нашем веке пропало без вести. Ну, до скорого!»

Так, с поднятым пальцем, он и удалился, упрыгал прочь, и я остался в синем свете ночника наедине с моим бодрствующим мозгом. Меня снова поразила мысль о том, что едва только я начинаю прозревать, едва начинаю различать подлинную действительность и, кажется, вот-вот подберу ключ к моей жизни, к этой шифровке, — как приближается последняя минута моего существования. Как будто это и есть условие, на котором мне дают шанс понять, для чего я жил, что означала моя жизнь.

Соня, пробормотал я, твоё явление чудесно, невероятно, оно напоминает мне ночь, когда я сидел на песке и прислуши- вался: вот-вот плеснёт вода, всплывёт русалка, покажутся её плечи и грудь в лунной чешуе. И ещё встаёт перед глазами озеро... помнишь ли ты или уже забыла наши места, заболо- ченную тайгу?

«Сказка, легенда. Не было никакого озера».

«Для кого легенда, а для кого... Сейчас я тебе покажу, мне всё равно пора вставать...»

«Ради Бога... сестра увидит...»

«Не увидит. Можешь не волноваться».

«У меня будут неприятности».

«Ну, как хочешь», — я пожал плечами.

«Я уж собралась на вокзал, — сказала она, — что он тебе тут наговорил?»

«Болтовня, бред, не стоит об этом. Между прочим, он тебя хорошо помнит...»

«Меня, откуда?»

«Помнит, и как мы на качелях качались, помнит. Хрен с ним, забудем об этом. Главное, мне посчастливилось его найти».

«Кого найти?»

«Не кого, а что. Озеро, всё в камышах... я его видел своими глазами. Ты не поверила, пока сама не убедилась».

Да, но ведь это было потом, прошелестели ее губы.

«Что значит потом?» Позже, раньше, какая разница, хотелось мне возразить, ты, дорогая, барахтаешься в тенётах грамматики. Для тебя все это непреодолимо... А для меня существует одно только вечное настоящее.

Я есть истина.

«Ты бредишь. Нет, ты не бредишь, ты умираешь. Я сейчас позову сестру и скажу, что ты умираешь».

«Возможно; впрочем, не совсем». Я хотел сказать, что у меня ещё остается немного времени — то есть, конечно, в том смысле, как *она* понимает это выражение: немного времени.

«К твоему сведению, это был Натка», — сказал я.

«А! вспоминаю».

«Между прочим, он мне наврал, он сказал, что у тебя с ним кое-что было».

«Что было?»

Я показал, сложил два пальца колечком.

«И луг сверкал синими брильянтами. Скажи... это действительно враньё?»

«Фу. Как тебе только не стыдно».

«Но он бегал за тобой».

«Что значит *бегал*?»

«Это было такое словечко. Был влюблён в тебя».

Мало ли кто был влюблён — она пожимает плечами.

Помнит ли она ту минуту, когда она отперла замок и сняла железную перекладину, отперла дверь ключом, но не сразу вошла в магазин, стояла на крыльце?

«Помню», — сказала Соня.

И сделала вид, что меня не узнала?

«Как я могла узнать, через столько лет...»

«Не так уж много».

«Да, но...»

«Конечно, в телогрейке, острижен под нулёвку, где меня узнать...»

«Это судьба».

Я вздохнул. При моём сравнительно небольшом сроке, протрубив половину, можно было надеяться, что меня расконвоируют. У большинства двадцать пять лет, бывшие военнопленные, изменники родины, попадаи, например, в плен мой двоюродный брат Натан. Он бы из немецкого лагеря загремел в наш лагерь. Если бы остался жив, если бы не узнали, что он наполовину еврей, если бы дотянул до конца войны, он бы тоже схватил четвертной. А я? Мне вообще, Соня (хотел я сказать) всю жизнь везло. Меня не успели убить на войне. В лагере у меня был маленький срок — по сравнению с большинством. На каждом ОЛПе надобность в бесконвойных велика, — хозводители, пожарники, сторожа, мало ли всяких работ, но кому я рассказываю, ты сама прекрасно знаешь.

Развод кончился, оркестр — у нас был оркестр из заключённых — умолк, бригады потопали в оцепление, бесконвойные ждут перед вахтой, рыл десять от силы на весь лагпункт, я же говорю, у большинства — четвертной.

Показываешь в окошко пропуск, гремит засов на вахте, и выходишь — свободный человек! За спиной у тебя ворота с флажками и лозунгом, вышка над вахтой, столбы с проволокой, запретная полоса, древнерусский тын из высоких толстых жердей, сверху наклонённые внутрь ряды колючей проволоки, лампочки наружного освещения, и над всем этим вышки с прожекторами, всё позади, — иди, никто не остановит, куда хочешь — с той лишь оговоркой, что не захочешь. И, однако же, побывав на разных должностях, и возчиком, и в бане для вольняшек, и ночным дровоколом на электростанции, и сторожем на лесоскладе в дальнем оцеплении, я ухитрялся ночью ходить за сколько-то километров в деревню, там у меня была одна...

«Это ещё кто?»

«Так... одна».

«Ты мне об этом не рассказывал».

«На подсочке работала».

«Что это?»

«Там был химлесхоз. Делали такие насечки на сосне и собирали смолу».

«Дальше».

«Что дальше?»

«Рассказывай дальше».

«Ах, Соня, к чему это? Будем считать, что этого не было».

«Но это было...»

«Что я хотел сказать... О тебе... Муж начальник лагпункта, не кол собачий».

«Не надо так».

«Удельный князь с дружиной».

«И вообще не надо об этом».

«Его перевели к нам на север, пятое отделение Белый Лух — Поеж — Лапшанга, когда это было?»

«Не помню. Не хочу вспоминать».

«Надо же было встретиться».

«Это была судьба».

Тишина, синий свет ночника. Только что простучал во тьме десятичасовой поезд.

«Вот именно, Сонечка. Лагерное существование, как тебе объяснить. Это дело обыкновенное, образ жизни русского человека, лагерь — это судьба, а что, собственно, означает это слово? Обыкновенную жизнь. Рассказать жизнь невозможно. Так и лагерь рассказать невозможно. Надо же было выйти за такого человека замуж».

«Я его любила...»

«Где он тебя подцепил, можно спросить?»

«Наш дом в войну сгорел».

«Дача?»

«Когда немцы подходили, всё вокруг горело, весь посёлок. Наши, когда отступали, подожгли».

«И качели сгорели?»

«Не знаю; наверно. Мы когда вернулись, не было ни кола ни двора. Поселили нас в бараке, и то благодаря тому, что отчим инвалид Отечественной войны... Моя мама вышла за него в эвакуации. Он приехал без ног».

«Да, но ты-то, ты...»

«Где с мужем познакомилась? В клубе на танцах. Он говорил, что он в командировке. Потом стали встречаться».

«Он тебе сказал, что он в этой системе?»

«Он говорил, что он на секретном объекте. Я девчонка была. Меня это всё очень интриговало. И вообще, такой видный из себя. Потом сказал... когда уже мы расписались. Я говорю, чего ж ты от меня скрывал. Не имел права, государственная тайна, сама должна понимать. Тебе тоже придётся заполнить анкету. Подписку дать о неразглашении...»

«А о том, чтобы не вступать в связь с заключённым, ты тоже давала подписку?.. Извини», — сказал я, и мы оба умолкли.

Она смотрела куда-то мимо меня, мой двоюродный брат сидел на качельной доске, мы оба были влюблены по уши, и он, конечно, слышал мои слова и хотел отомстить мне за то, что я увидел её ночью, хвастался своим умением метать нож и сказал, что мог бы вызвать меня на дуэль.

А всё-таки, думал я, мне тогда показалось... когда ты стояла на крыльце.

«Что я тебя узнала?»

Я мигнул в ответ, я лежу и говорю с ней глазами, потому что от меня уже почти ничего не осталось. Но зато я кое-что начинаю постигать. Ключ к шифру жизни, Соня, вручается тому, от которого ничего уже не осталось. Нужно добраться до конца, до обрыва, как я тогда, перед тем как увидеть тебя в воде, и обретёшь истину. Развод кончился, колонны рабов отправились на работу, была ледяная весна, солнце успело взойти, наше жёлтое, таёжное солнце, точно так же оно блесло сквозь пелену облаков, когда татары добрались до Китежа и ничего не увидели, кроме озёрной глади в камышах. Я стоял перед запертыми воротами со своим возом-ларём на двух лесовозных вагонках, соединённых цепями, с кольями по бокам, чтобы не дать ящику соскользнуть, с двумя парами колёс с обеих сторон, и колёса катятся по деревянным лежням, как по рельсам. Лежни проложены из зоны за ворота и там расходятся по сторонам.

Нормальная жизнь, Соня, далёкий год, единственный, как на Сатурне, где год равен тридцати земным годам. И кто знал, что так получится? Судьба велела тебе выйти замуж за лагерного офицера, судьба сделала меня бесконвойным. Вахтёр в изжёванном картузе, в ватной телогрейке, в армейских травянистых галифе и гремучих сапожищах, сошёл с крыльца, отворил дверцы ящика, осмотрел полки, нет ли чего лишнего, буханки, ещё тёплые, пахучие, лежали в три ряда, я возил хлеб в магазин для вольнонаёмных из пекарни, которая находилась в зоне. Вахтёр захлопнул дверцы и пошёл открывать створы ворот. И солдат-азербайджанец пел тягучую песню на вышке, над крышей вахты. Лошадь дёрнулась, закивала головой, завизжали колёса. Выехали и повернули налево, мимо домика вахты. И дальше, вдоль тына, минуя угловую вышку, к посёлку сил и начальств, там же где-то и терем князя, помнит ли она это утро, спросил я.

Ещё бы не помнить.

Воз подкатил к магазину. Напротив будка ночного сторожа, там лежит овчинный тулуп, превратившийся в руину, я дремал там, скорчившись на полу, вылезал наружу, расхаживал под звёздным небом, заходил погреться в пожарку, где огромный рукастый мужик по имени Дуля, западный украинец, жарил в печке колбасу из крови и требухи, дар начальства, для которого Дуля делал настоящие колбасы из мяса.

Магазином заведовала, и она же была продавщицей, злобная тётка, жена оперуполномоченного, иной жены у него и не могло быть. И казалось мне, я уже слышу её жирный голос, она командовала, расставив ноги и сложив руки под огромной грудью. Вот бы цапнуть за эту грудь, что бы она запела? Лошадь стояла, понурившись, в оглоблях, которые подцеплялись к крюкам на передней вагонке, дверцы хлебного ящика были распахнуты, с горкой буханок на руках я повернулся, чтобы нести в магазин. Но никакой жены уполномоченного не было, на крыльце стояла ты, и точно так же, как в реке, облитой лунным оловом, точно так и тем же самым жестом, когда ты высматривала кого-то, заслонясь ладонью, утром в день солнцестояния, возле качелей, так и теперь ты смотрела

из-под руки, ты посторонилась, пропуская меня с буханками, и не взглянула на меня. Я поехал назад, распряг лошадь и отвёл в конюшню, брёл в зону, к своему барaku, никого не видя, ничего не слыша, вошёл в секцию и повалился на нары. Я знал, что на крыльце стояла ты.

«Ты в самом деле меня не узнала?»

«Ты уже спрашивал».

«Я ещё хочу тебя спросить, мне это очень важно... ведь он тогда врал, когда говорил, что у него с тобой было?.. Ага, — вскричал я, — значит, ты всё помнишь. И озеро помнишь?»

«Не было там никаких озёр. Это всё легенда, — сказала Соня и оглянулась на дежурную сестру, которая стояла за стеклом моего бокса и делала нетерпеливые знаки. — Сейчас... две минуты», — пробормотала она с мольбой, с досадой. И, как всегда бывает, когда срочно надо что-то договорить, мы умолкли.

«Итак?» — спросила она или вообще кто-то.

Я вздохнул, лучше сказать — перевёл дух. Итак, я подъехал. Бросил возжи на спину лошади, открыл дверцы ящика и стал выгружать хлеб. Одна буханка упала на землю. Я ждал окрика — жирный голос жены оперуполномоченного раздался. Я дорожил своим местом. Я качал воду и топил баню для вольнонаёмных. Я был ночным сторожем на лесоскладе в сто первом квартале, от лапункта километров десять; сплошь болото, идти можно только с палкой по лежнёвке. Теперь я сторожил возле магазина и возил по утрам из пекарни хлеб для вольняшек. Завпекарней был уголовник, важная птица, он и мне иногда давал что-нибудь.

«Можешь мне не рассказывать».

А я ему за это — с риском, само собой, — проносил кое-что из-за зоны: цыбик чаю для чифиря, пачку духовитого мыла, одеколон выпить. Вся жизнь, если хочешь знать, устроенная по лагерному образцу, лагерное существование есть нормальный образ жизни, я знал людей, которые боялись конца срока, с тревогой ждали освобождения. Я знал разных людей, Соня. Буханка упала, я поспешно подобрал, никакого окрика не последовало, не было больше жены уполномочен-

ного, на крыльце магазина стояла ты. Что это за шум, спросил я.

«Это аппарат, он дышит вместо тебя».

А... ну пусть дышит. Нет, лучше пусть уберут, мешает говорить. В общем, будем считать, что мы друг друга не узнали. И ничего бы не было, если бы не эта случайность... этот щит.

«Это была судьба. Ничего бы не случилось, если бы не судьба».

«Но судьба — это и есть истина, ты как считаешь?..»

Загремел засов на вахте. Это было такое устройство, чрезвычайно практичное, в лагере вообще было много изобретений, лагерь сам — гениальное изобретение. Не надо каждый раз выходить и проверять, кто идёт. Надзиратель смотрит в окошечко, показываешь пропуск. У него там рычаг, он нажимает, засов отодвигается. Магазин работает до восьми, а время — начало девятого. Она выходит на крыльцо, машет рукой, начальственным жестом, чтобы я помог ей навесить щит. Я человек крепостной, у нас крепостное право, мы все крепостные. Что велят, то и делаем. Щит из сколоченных досок прислонён к окошку, она берётся с одной стороны, я с другой, нет, говорю я, отойдите, поднял и поставил щит на подоконник, теперь брус, я держу щит, она просовывает в скобы деревянный брус, который удерживает щит, мы стоим рядом, в магазине полутемно, мы стоим рядом и не смотрим друг на друга, дверь закрыта, если кто подойдёт, шаги будут слышны на крыльце, и действительно, кто-то подходит, опоздавшая покупательница или кто-там, сейчас заметит, что железная перекладина висит рядом с дверью, значит, магазин ещё не закрылся, мы стоим рядом, судьба спасает нас, шаги удаляются, щит закрыл окошко, темно, и я обнял тебя, Соня.

Я видел тебя ночью, в лунной чешуе, ты поднялась и шла к берегу, и вода постепенно опускалась вокруг тебя, ты меня не заметила, и наутро твоя нагота вновь окуталась тайной.

Она вырвалась. Несколько мгновений она стояла, глядя в пол, медленно подняла голову и вздохнула, словно нам обоим предстояло выполнить тяжёлый долг.

«Как тебе не стыдно...» — проговорила она и покосилась на дежурную сестру, но сестра, на наше счастье, исчезла.

«Ангел смерти», — усмехнувшись, сказал я.

«Как тебе не стыдно, ты же мужчина. Ты не сдвинулся с места... ты хотел, чтобы я первая».

«Я заключённый, Соня. А ты была начальница. Да ещё какая: жена князя».

«Перестань... почему ты называешь его князем?»

«Потому что я смерд».

«Я заперла дверь на ключ. Почему ты медлишь?»

«Потому что я тебя люблю».

«Этого не может быть. С тех самых пор?»

«Здесь темно, но я тебя вижу».

«Что ты видишь?»

«Я вижу тебя всю. Ты такая же».

«Если бы ты вошёл в воду...»

«Я боюсь воды. Меня однажды вытащили из проруби».

«Если бы ты меня подождал».

«У меня оставалось мало времени».

«Теперь мы будем вместе».

«А как же твой муж?»

«Никак, — сказала она. — Муж одно, а ты другое».

«Муж — это муж», — сказал я.

«Я буду тебя ждать. Когда ты освободишься, я с ним разведусь».

«А до тех пор?»

«А до тех пор так и будет».

«Ты часто с ним спишь?»

«Иногда».

«Ты его любишь до сих пор?»

«Не знаю. Так, как с тобой, у меня с ним никогда не было».

«Но ведь ты что-то чувствуешь, когда ты с ним?»

«Чувствую. Я же не колода».

«Тебе бывает приятно?»

«Иногда приятно»

«Он пьёт?»

«Все пьют. Ну и что?»

«А то, что меня не никогда не освободят, вот что».

«Почему это?»

«Потому что у меня такая статья. Кончится срок, его продлят автоматически. Или в ссылку».

«Куда?»

«Почём я знаю. Далеко».

«Я к тебе приеду».

«В ссылке ещё хуже, чем в лагере».

«Зато будем вместе».

Мы всегда вместе, хотел я сказать. Мы там так и останемся. Где там? — прошелестели её губы. Магазин состоял из двух комнат. Во второй помещался склад. Мы устроили там ложе из ящиков. Каждое утро я разгружал хлеб. Покупательницы стояли и ждали. Все тебе завидовали. И твоему месту, и то, что ты жена князя. Он был капитаном, теперь, наверное, полковник? Нет, сказала она, после той истории повышение откладывали несколько раз. А потом он и вовсе ушёл из этой системы. Из этой системы не уйдёшь, хотелось мне возразить. Эта система вечная. Кто там побывал, даже если удалось ускользнуть — вернётся. Всё равно, кто он: князь или смерд. Как смерч, неслась по зоне весть о том, что капитан обходит свои владения. Лазают по баракам, как это называлось, — после развода, после того, как нарядчик обнюхает секции, отловит отказников, когда дневальные в пустых секциях принимались за уборку. Капитан вошёл, с ним помпобыт и два надзирателя. Дневальный с шваброй, навьютяжку. А это кто там? На верхних нарах в углу. Это я, Соня, лежу, притворившись спящим, потому что с начальством лучше не связываться. Ты думаешь, я лежу здесь в боксе на функциональной кровати, но ведь кровать — те же нары, в некотором смысле. Я лежу и слышу пропитый голос капитана, и знаю, что он сегодня ночью с тобой спал, но он не знает, что накануне вечером ты принадлежала мне. Ночной сторож, отвечает помпобыт. Почему не в секции для бесконвойных? Гремят сапоги, капитан со свитой покидает секцию. Раз в неделю я ездил на станцию Поеж за продуктами. Наше княжество самое северное. От нас до комendantского лапункта ехать в теплушке полсутки. Когда за-

теялось дело — когда всё это открылось, меня везли в теплушке, и я просидел в тюрьме месяц. Мне добавили срок и отправили на штрафной, на самые тяжёлые работы. До этого сидел в изоляторе у нас на лагпункте, пока опер-кум трудился над оформлением дела, для него это была находка, он давно копал под капитана. Потом повезли, как обезьяну в клетке, на комендантский. Это только так называется — теплушка, на самом деле стучишь зубами от холода всю ночь. Конвой сидит в тамбуре, там у них железная печка. Наше пятое лаготделение в керженецких лесах. Лагерь движется всё дальше, год на Сатурне тянется тридцать лет, лагерь вгрызается в тайгу, оставляет после себя заброшенные насыпи железнодорожных усов, полустгнившие штабеля невывезенного леса, кладбища полуобгорелых пней, пустыню чёрного праха. И сколько ни истребляли лес, ни до какого озера не добрались. Легенда, бред твоего угасающего сознания. Ты наедине со своим сознанием, как тот, кто склонился над своим отражением в воде.

«Однако ордынцы его нашли, — сказал я. — Надо уметь искать».

Нет там ни лежнёвок, ни гатей, и конём туда не проедешь, только лазутчики, знавшие эти места, видели чудный город, и следом за ними, сперва по Керженцу на узких лодчонках, потом всё дальше уходя от реки в таёжную глубь и тьму, хлюпая в болоте, обходя трясины, под тучами мошкары отряд монголов, сорок воинов, молча, тайно продирался через подлесок. И вдруг увидали просвет, голубое небо, и вот оно, серебряное, лазоревое, недвижимое — чудное озеро Светлояр, тёмное у берегов от леса, поднявшегося со дна. Но на самом деле это не лес на дне, а лишь отражение берегов. А где же Китеж? Лазутчики разводят руками.

Она сказала:

«Это всё Ферапонтиха».

«Верно, Соня. Я совсем забыл, что фамилия оперуполномоченного была Ферапонтов. И забыл про жирную тётку. От которой, между прочим, мне житья не было... Откуда ты знаешь?»

«Знаю. Это она пронюхала. Она до меня заведовала магазином. Мы не будем открывать».

«Да. Мы не будем открывать».

«Пускай ломают дверь».

«Пускай. Тебе надо одеться».

«Они ушли».

«Пошли за ломом».

«За отмычкой. У лейтенанта есть отмычка. Может, тебе выйти? Потихонечку. Я сейчас открою».

«А ты?»

«Что-нибудь наплету. Выходи скорей, пока их нет».

«Бесполезно. Они же видели — сторожка пуста».

«Они сейчас вернутся. Вот... переговариваются, слышишь? Я так и знала, я чувствовала. Представляешь себе, что будет. Заключённый, с женой начальника, ночью. Что они с тобой сделают?»

«Ничего».

«Что они с тобой сделают!»

«Да пускай хоть на куски режут. Я неуязвим, Соня. От меня уже ничего осталось, я свободен».

«Там никого нет. Милый, родной. Уходи».

«Соня, — проговорил я. — Это правда. Никакого Китежа нет, там одно пустынное озеро. Там тишина, там даже птиц не слышно. Но если прислушаться, кое-что услышишь. Соня, я знаю дорогу, мы обойдём трясину. Там такой густой ельник, что в трёх шагах ничего не видно, неба не видно. Но я знаю, как добраться. Ты увидишь, нет больше никакого Китежа, пропал Китеж. Мы с тобой сядем передохнуть и услышим. Это колокольный звон. Колокола бьют, и вода чуть-чуть колеблется, ты сама увидишь, если присмотреться. Соня, мы с тобой уйдём, и никто нас никогда не разыщет. И будет считаться, что мы с тобой пропали без вести. Я боялся воды, меня когда-то вытащили из проруби, но теперь я больше не боюсь, и даже хорошо, что я не умею плавать. Я возьму тебя за руку и скажу: вставай, пошли. А как же, ты спросишь, прямо так, в одежде? Конечно. Вот так, взявшись за руки, здесь дно сначала мелкое. И никто нас больше не увидит. Пусть хоть целый

взвод с собаками пойдёт по следу, пусть оцепят всё княжество. Пускай объявят всесоюзный розыск, нам-то что. Мы пропадём без вести! Уйдём за тридевять земель от этой Ферапонтихи, и от кума, и от князя, и от вышек с прожекторами, от всей этой гнусной жизни и Богом проклятой страны уйдём прочь, они продерутся сквозь чащу, выскочат на берег с псами, с автоматами, сами как псы, — а нас, ха-ха! Ищи, свищи».

«Бегите за врачом, — сказала она. — По-моему, он умер».

FINIS